

МАРК
БЕРКОЛАЙКО

ПАРТИЯ



Марк Берколайко

Партия

«Издательские решения»

Берколайко М. З.

Партия / М. З. Берколайко — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-907450-8

В 100 году до н. эры началась шахматная партия между демиургом Яхве и его лучшим учеником Рафаэлем. Ее исход должен определить дальнейший путь развития человечества, и, сознавая ее вселенское значение, Яхве и Рафаэль решают, что шесть раз, в зависимости от того, какой, — в полном смысле слова, — экзистенциальный выбор сделают их избранники, лучший ход белых или черных будет разрешен или запрещен. Роман публикуется в третий раз, предыдущие два издания вызвали большой интерес читателей и критиков.

ISBN 978-5-44-907450-8

© Берколайко М. З.
© Издательские решения

Содержание

Пролог	6
Глава 1	11
Глава 2	21
Глава 3	34
Глава 4	46
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Партия

Марк Зиновьевич Берколайко

© Марк Зиновьевич Берколайко, 2018

ISBN 978-5-4490-7450-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Пролог

*Я скажу тебе с последней
Прямой...
О. Манделъштам*

Я знал, я верил, что найдется единственный победный ход, и что он будет так прекрасно нелогичен!

Впрочем, Он наверняка использует свою последнюю возможность не дать мне сделать сильнейший ход и избавить человечество от надуманного выбора между Ним – Яхве, Иеговой, Богом Всеблагим и Всемогущим – и мною, Рафаэлем, любимым учеником, чернорабочим в мастерской Великого Творца; прозванным и Люцифером, и Сатанаэлем, и совсем уж мерзко – Повелителем мух.

Болезненные страхи верующих рисуют меня вездесущим, подстерегающим каждый их шаг, будто миллиарды моих цепких рук стремятся перехватить их на пути к Богу властно и навсегда, как веревка – горло повешенного. А ведь я люблю их не меньше, чем тот, кого они зовут Всеблагим и Всемогущим...

– Рафаэль, – того и гляди, скажет Яхве. – Ты велеречив, как пьяный проповедник. С чего бы это?

– С чего? – переспрошу я. – Да с того, что после выпада ладьи Вы уже не спасете партию. Выпад ладьи перекроит судьбы человечества!

– Как звонко сказано, – усмехнется Он, – «...неотразимый выпад... судьбы человечества...». Твой пафос – форма скрытого протеста: ты ведь так смешно обиделся на меня и людей, когда стал для них олицетворением греха и соблазна. Но что поделаешь, если абсолютное добро – это я, а жена, дети и родственники вокруг меня, как вокруг Зевса, не существуют, то носителем абсолютного зла должен был стать мой любимый ученик. Терпи!

*Его первоначальный замысел был прозрачен и глубок: через некоторое время после Большого Взрыва в разных местах Вселенной должны возникнуть системы, способные развиваться и бороться за расширение ареала. Но вопрос: на каком этапе развития каждая особь станет ощущать себя не только частью системы, но и как отдельность, единичность? На каком этапе она начнет бороться с другими особями за расширение **своего собственного** ареала?*

И причудливы пути познания: только на окраине скромной Галактики, на небольшой планете, умеренно резво бегающей вокруг небольшой звезды, наша программа пошла так, как мы рассчитывали – и на все вопросы давала ответы ясные и четкие. Оставалось только терпеливо наблюдать, но Ему это казалось слишком скучным...

– Рафаэль, я, разумеется, вижу ход ладьей, – вдруг заговорил Яхве, – и использую свою последнюю возможность. Но мне надо подумать...

Не люблю я, когда Он так задумывается. В такие его размышления проникнуть невозможно, в результате таких же раздумий возникла все перевернувшая идея.

– Рафаэль, мальчик мой! – сказал Он тогда. – Вообрази, что мы создаем возможность появления на Земле интеллекта с неограниченным потенциалом развития. Конечно, со временем он подчинит себе и планету; и пространство вокруг ее звезды, но главное нее это. Главное, что его носители, единственные из всего живого, будут понимать непреложную конечность своего существования. Каждая особь будет точно знать, что умрет, но совершенно не представлять, когда. По-моему, безумно интересно.

– А по-моему, просто безумие, без всякого интереса, – ответил я. – Ни одно живое существо, борясь за пищу или территорию, не подозревает, что может погибнуть. Конечно, инстинктивный страх ему знаком, он заставляет громче рычать и ожесточеннее впиваться – но ужас конца неведом до последней конвульсии. А если станет ведом, то наступит апатия, постоянное ожидание неизбежного.

– Ну, не мысли же ты так односторонне, Рафаэль, здесь есть невероятно раскидистое дерево вариантов! Подумай хорошенько: все животные инстинкты сохраняются, да плюс интеллект, да плюс постоянное ощущение границы, за которой Ничто, да плюс маниакальное желание заглянуть туда... хоть там и Ничто – а! какой роскошный питательный бульон для развития! Цепочку «муравейник – пчелиный рой – стадо» мы уже выстроили, но зачем останавливаться? А вдруг получится продолжение: «стадо – общество»! Решено, делаем!

И мы сделали. Делал, конечно, в основном Он – кто мог бы с Ним сравниться, когда надо было ювелирно выстроить триллионы связей между мириадами живых ячеек: но я помогал – увлеченно, взахлеб. И у нас получилось, и люди шаг за шагом обжидали планету.

Но вновь Его неумение просто ждать, вновь проклятое нетерпение и импульсивные вмешательства в естественный ход событий!

... – В программе пошли отклонения – я подбирал слова осторожно, хотя пошли не отклонения, а провалы.

– Рафаэль, твое молчаливое несогласие чувствуется так явно, что на Земле уже начали сочинять легенды о великом бунте Люцифера. Выскажись, я слушаю.

И я заговорил.

– Ваши сомнительные новации ни к чему позитивному не приводят. Ваше ребячливое желание сделать «еще интереснее» не помогает, а препятствует развитию – пусть медленному, без столь любимых Вами скачков и прорывов, но зато непрерывному. На Земле уже возникли неплохие цивилизации, к примеру, эллинская. Как все гармонично и по-жизнелюбски просто! Есть смертные и есть бессмертные, есть случайность и есть Рок, зато, к счастью, нет никаких понятий о добре и зле. Только капризная милость богов – и жестокая их немилость. Любят они тебя – повезло, не любят – покоришься. Чем Вам это не нравилось? Зачем Вы внушили идею единого Бога народу дикому и чересчур эмоциональному?!

Как же Он неистовствовал! Я впервые до конца прочувствовал Его необузданность. Не просто бури – магнитные тайфуны терзали бедную Землю, гравитационные поля скручивались в даже мне неведомые формы, пустоты разрушали так кропотливо создаваемую нами односвязность пространства-времени.

– Ничтожество! – гремел Он. – Твое скудоумие угнетает меня сильнее, чем все людские глупости! И в своих бредовых фантазиях они еще прозвали тебя Люцифером, Светозарным! Да вся твоя светозарность – это позолота!

Еще немного – и сотворенный нами мир был бы разорван в клочья...

– Не смейте меня оскорблять! – такая неожиданная резкость Его утихомирила. – Пугайте людей своими громами и рыками, а меня – бесполезно! Может быть, я – ничтожество, но лучшего ученика у Вас не было и не будет! Это я сделал всю черновую работу, я выстроил мироздание – по Вашим наметкам, но я. И в большей его части – устойчивость и предсказуемость. А там, где царит хаос, где бесчисленные бифуркации – там, в поисках «интересного», метались Вы! Но с меня довольно, я ухожу! Люди возликуют, когда Вы пошлете им знамение о полной победе над злом. Правда, потом им некому будет орать: «Изыди!» и Вам самому придется отвечать за все их несчастья, но это уже не мое дело!

– Мальчик мой! – спохватился Яхве. – Не разбрасывайся такими грозными словами! О каком уходе ты толкуешь, о каком уничтожении? Ведь ни я без тебя не справляюсь, ни ты без меня не обойдешься! Я, наверное, зря погорячился...

(Оказывается, я – «разбрасываюсь грозными словами». А он – всего лишь «погорячился».)

– Давай рассуждать здраво. Согласен, люди и без наших подсказок начали создавать цивилизации – где-то изобрели порох, где-то научились строить канализацию. Но это не то, что нам нужно, Рафаэль! Не потому, что развитие могло бы идти быстрее – я понимаю, что возможны и замедления, и торможения, и даже кризисы, но единобожие потому и необходимо, что единый бог – по определению – не-земной, анти-земной, его пути неисповедимы, повеления необъяснимы, он – абстракция, которая нигде, но везде, ни в чем – но во всем. Рафаэль, человечеству необходимо выстраивать из абстракций прочное жилище для духа и интеллекта. Значит, должно ощущаться незримое присутствие не скандальной олимпийской семейки, а чего-то высшего, непостижимого – в бесконечном небе, дальше невообразимо далеких звезд. Но! – пока или навсегда непостижимого?! Ты ведь понимаешь, мой мальчик, какое значение имеет противоречие между этими «пока» и «навсегда»?! ты понимаешь, что именно оно будет манить, притягивать, толкать, тащить! Рафаэль, мы с тобой дали им это небо, эти звезды, а я, отдельно от тебя, подарил им только название, только слово, только номинацию – Бог Единый и Всеобъемлющий!

Возразить было трудно. Он сверкал в капельках росы, умывшей листья и травы. Он располосовал небо ликующей радугой, струился в потоках лунного света, покрывшего моря шелковым блеском невесомого покрывала. Он звучал в мерном плеске волн и переливался в фиоритурах соловьев; играл перекатами умиротворенного рыка сытых львов и вибрировал в трубном зове взбудораженных лосей.

И в словах Его праздновала час своего торжества красота великой мечты.

А меня... меня Он вытеснил в печальный скрип умирающих деревьев, в утробный вой снующего между гор ледяного ветра, в угрожающий шелест голодных гадов – и это было нетрудно, потому что в моих возражениях были лишь липкая плесень скепсиса и затхлость азбучных истин...

– Мне, Рафаэль, тоже не нравятся мои отношения с иудеями, их шараханье от раболепства к самонадеянности. Но все изменится, когда они хлебнут из чаши судеб столько горечи, что тяготы вавилонского плена станут вспоминаться шлепком снисходительного отца. Тогда они сыграют свою роль до конца – чужие для всех, будут раздражающе активны, а в ответ на всеобщую неприязнь не затихнут, но утроят усилия. Потребность быть первыми, доходить до сути, низвергать авторитеты навлечет на их головы много молний, но нехотя, исподволь за ними пойдут другие народы. А иудеи когда-нибудь устанут, память о них завернут в саван легенд – и хоть этим воздадут должное. Так что зря ты считаешь мой выбор неудачным: какая разница, откуда дрова, если костер хорошо полыхает? ... Ну, что, теперь мы все прояснили?

– Нет, осталось главное.

– Что еще «главное»? – и затмение легло на дневную половину Земли. – Мне уже надоели твои скрипящие вопросы... что ты предлагаешь?!

– Предлагаю лишить их иллюзий, будто преданность Вам обеспечивает им бессмертие, или воскрешение, или приятное инобытие. Пусть знают, что после смерти ничего нет, и ничего не будет. Пусть учатся жить долго, уходя легко и спокойно, как засыпает ребенок, устав от впечатлений летнего дня. Предлагаю перестать внушать им представление о Вашем всемогуществе и терпеливо сносить «скрипящие вопросы», кто бы их ни задавал!

Я впервые разговаривал с Ним, не боясь ответного гнева. Позже это назвали бунтом, восстанием, будто бы я домогался власти. Как это мелко, как по-людски! Нет, мои помыслы

были чисты, но я, Рафаэль, как только не прозванный: и Люцифером, и Сатаной, и Повелителем мух; я, послушный чернорабочий в мастерской Великого Делателя Яхве, впервые не отступил, выдержал Его сотрясающую Космос ярость – и только повторял дерзко: «Сделайте – или я ухожу!»

И тогда Он предложил компромисс:

– Очевидно, Рафаэль, мы не сможем убедить друг друга. Поэтому давай решим спор, как это делают замечательные индусы – за шахматной доской. Готов отдать тебе белый цвет. Выиграешь – сделаю все, что ты потребуешь. Проиграешь – никогда больше не будешь мне возражать. А если ничья, тут же начинаем другую партию.

Конечно, я был беспомощен против Него любым цветом и проиграл бы к тридцатому ходу почти наверняка.

– Благодарю, однако несправедливо решать судьбу людей без малейшего их участия. Пусть каждый из нас имеет по три возможности не дать сопернику сделать сильнейший ход. Предлагаю выбирать кого-нибудь из тех, кто находится на перекрестье Судеб – и выбирает из двух вариантов. В зависимости от предпочтений нашего избранника ход делается или нет. Шесть раз мы отдадим в их руки исход партии, шесть человек, ни о чем не подозревая, определяют будущее человечества!

– Рафаэль, – спросил Он, – но если, скажем, твоя пешка нападет на моего ферзя, у которого есть только одно поле для безопасного отхода, то может статься, что именно этот ход мне сделать не дадут? Ты этого добиваешься, я правильно понял?

...Куда меня, несправедливо прозванного дьяволом, запрятали Его восторженные почтитатели? В детали?! Хотя интересно, когда они узнают, что их геном на девяносто девять процентов совпадает с геномом мартышки, то как они нарекут эту деталь, этот ничтожный один процент – Духом Божьим или схроном Сатаны?

Но про придуманную мною деталь Он все понял правильно.

Еще бы не понять, что теперь Его гигантское превосходство сводится на нет! Чего стоят глубина предвидения и искусство расчета, если любая активность может стать роковой?

– Рафаэль, – спросил Он, и я понял, что мы навсегда стали чужими, – если я откажусь от этого нелепого усложнения, ты опять заявишь, что уходишь?

– Да!

– Вскоре после Большого Взрыва работу со всем материальным я поручил тебе. Ты понимаешь, что если немедленно уйдешь, с Космосом и нашей Землей может произойти что-нибудь неоправданное? Ты ведь хорошо это понимаешь?

– Да!

– Но такая партия может продолжаться очень долго, по меркам планеты – тысячелетия. И все это время мне позволяется лишь наблюдать за людьми?

– Да! Это очень важно, пожалуйста, это – самое важное! До разрешения нашего спора в развитие человечества не вмешиваюсь я, но и не вмешиваетесь Вы! Вас и так уже слишком много в их жизни, разве не интересно, чего они стоят сами по себе? Это же Ваш основной принцип: «Чтобы было интересно!»

– Ну что ж, твой ход, Рафаэль! Вперед, Повелитель мух!

Впервые Он назвал меня людским прозвищем, выбрав самое лживое.

Мы играли долго. Все это время Земля была в безопасности, разве что два-три крупных метеорита случайно пробили выставленную мною защиту.

А человечество, избавленное от нашего с Ним вмешательства, жило на хранимой мною планете как-то... странно. Так странно, что даже я, ревнитель деталей и нюансов, не вижу просвета в их мирадах.

Но самое странное, что почти три тысячи лет, преследуя пророков или поклоняясь им, провозглашая истину ересью или ересь – истиной, блуждая между рассудительностью науки и не рассуждающей верой в чудеса, эти странные наши дети не перестают надеяться на соединяющую их с Ним незримую пуповину...

– Рафаэль, – вдруг сказал Яхве, – я не хочу искать последнего, шестого избранника ни среди вождей, ни среди героев, ни среди гениев. Пусть это будет...

Глава 1

Эндшпиль. 2003 год. Май

*Я хочу быть понят родной страной.
А не буду понят – что ж! —
По родной стране пройду стороной,
Как проходит косой дождь.*
В. Маяковский

Георгий Георгиевич Бруткевич, 55 лет отроду, всего-то на два дня сбежавший в небольшой санаторий, приютившийся среди раздолий бывшего имения князей Мещерских, был самым кошунственным образом разбужен в самую первую ночь, когда он мог бы выспаться всласть, «под завязку» и про запас.

Разбудивший его звук было бы мало назвать: «пронзительный собачий скулеж»; нет, требовались превосходные степени, например: «очень-очень пронзительный, сводящий скулы собачий скулеж».

Требовалось проснуться. Встать. Выйти на балкон. Прогнать собаку к чертовой матери, кинуть ей что-нибудь вслед... пусть не попасть, так напугать... но если вдруг попасть, то, во искупление чрезмерной жестокости, покормить после обеда чем-нибудь... наверняка ведь припрется к столовой. Держа в руке пляжный «сланец», Бруткевич медленно поплелся на балкон. Подобный темп был выбран не только затем, чтобы не спугнуть продолжавшую скулить собаку, но и следуя наставлениям категоричной дамы – невропатолога, которой он – и кто тянул за язык?! – пожаловался на головокружения при внезапных пробуждениях. Было это сравнительно недавно, во время профосмотра, непременно для всех лиц, входящих в не столь отдаленный круг нового губернатора.

На традиционный вопрос невролога Бруткевич ответил:

- Ни на что не жалуюсь!
- Что для вашего возраста нереально, – прокомментировала она. – Хорохоритесь?
- Есть немного, – признался Бруткевич. И пожаловался.
- Пьете? – строго спросила невролог.
- Практически нет. Я долго занимался спортом.
- Каким видом?
- Боксом.
- Нокауты бывали?
- Нет, но крепкие удары иногда, конечно, пропускал.
- Сколько раз ночью встаете в туалет?
- Одина раз – всегда. Два – иногда.
- То, что с вами происходит в туалете, – дело не мое! – невролог строго подняла палец, –

и несколько струхнувшему Бруткевичу захотелось признаться, что как-то раз он нацарапал все же на стене школьного туалета нехороший отзыв о придире-завуче.

– Это дело уролога! – палец устремился вверх еще строже, и тут Бруткевич с облегчением, понял, что дама имеет в виду не всевидящее око Всевышнего, а лишь расположенный где-то наверху кабинет уролога.

– Но за то, чтобы до туалеты вы добирались без падений и травм, отвечаю как раз я! И предупреждаю, никакие медикаментозные средства проблему не решат!

Бруткевич увидел смерть в конце туннеля...

- Ходить по ночам в туалет надо медленно и по стеночке!

– Как по стеночке? – удивился Георгий.

– А вот так! – невролог встала из-за стола, с удовольствием потянулась, потом съежилась и побрела, опираясь на стену кабинета так беспомощно и опасно, что Бруткевич, благодаря профессии жены знавший театр не понаслышке, почувствовал, какая актриса гибнет в этой недавней выпускнице недогонежской медицинской академии.

С тех пор Георгий, «вспрынув ото сна», первые несколько минут передвигался медленно и по стеночке – независимо от того, держал ил путь в туалет или, как сейчас, шел отомстить подлой собачонке.

Та, словно чувствуя его опасное для себя приближение, скулила все пронзительнее.

– Фью-и-ть! Пшла вон! – свистнул и прошипел Бруткевич, изготовившись метнуть «орудие возмездия» вслед за порскнувшей из-под балкона собаке.

– Сам пшел вон! – нагло ответила собака. – Иди спать и больше так тихо не подкрадывайся, пограничник хренов!

После такого афронта лучше бы было вернуться в постель и забыться... но Бруткевич вдруг заметил, что начало светать. И что это был за рассвет!

Чернота ночи прижималась к земле и густела, как звучание контрабасов. Другие цвета располагались слоями и опирались на это звучание, подобно хорошо выстроенному оркестру: дымчато-серый переливался, как пение виолончел; алый был ровным и насыщенным, как дружелюбные голоса альтов, а розовый взвивался, как рвущая сердце кантилена скрипок. Еще выше улыбался прохладный голубой, несколько отстраненный от иных цветов, как неземные звуки гобоев отстраняются от чересчур импульсивных струнных. Двухсотлетние же лиственницы, шпалерами уходящие к горизонту, пронизывали все это многоцветие ликующими вскриками труб и валторн.

Бруткевич, вспомнив о детской мечте стать музыкантом, распростер объятья этой гармонии – и «сланец», все еще зажатый в руке, повел за собой полифонию рассвета, как чуткая и властная дирижерская палочка.

– Ну что ж ты на балконе торчишь? Как тебя назвать после этого?! – опять прорвался голос.

– «...Не смею. Назвать себя по имени.» – весь во власти внезапно возникшего примирения с миром, продекламировал Георгий на распевных нотах проникновенного баритона. – «Оно / Благодаря тебе мне ненавистно. / Когда б оно попало мне в письмо, / Я б разорвал бумагу с ним на клочья.»

И услышал в ответ:

– «Десятка слов не сказано у нас, / А как уже знаком мне этот голос! / Ты не Ромео? Не Монтеки ты?»

– «Ни тот, ни этот: имена запретны», – возопил радостно изумленный Бруткевич.

– Ш-ш-ш! Тише вы! Весь санаторий поднимете. Откуда вы взялись на мою голову?

– Не **на** вашу голову, а **над** вашей головой! – поправил педант Бруткевич.

– Шекспира наизусть шпарите...

– Моя бывшая жена – артистка, – пояснил Георгий. – Лет двадцать пять назад она дома разучивала роль Джульетты, а я подавал реплики. Так что со мной все понятно, но откуда взялось ваше абсолютное знание классики?! Послушайте, может, это судьба, что вы решили поскулить именно под моим балконом, а не, скажем, под своим?

– Вы насчет судьбы полегче! Терпеть не могу, когда ради санаторного кобеляжа разбрасываются такими словами. Просто моя дочь не выносит, когда я плачу. Услышала бы, не дай бог, такой рев бы в ответ подняла... погромче вашего ора.

– Какая она у вас умница! – восхитился Бруткевич. – Сударыня! Понимаю! Вы хотите, чтобы я убрался с балкона, дабы упорхнуть потихоньку, не показав мне своих прекрасных, но зареванных глаз и точеного, но распухшего носика. Но есть ведь другой вариант! Я твердо

намерен и дальше любоваться дивным рассветом и искренне хочу поделиться этой красотой с вами. Вы можете прошмыгнуть в мой номер, заскочить в ванную, умыться, просморкаться и тихо выйти на балкон. Встать рядом, взглядеться в даль и понять, что жить – стоит. Обещаю, что не поверну к вам головы – и мы продолжим беседу, не видя друг друга, совсем как Ромео и Джульетта.

– А вы-то хоть в трусах, Ромео?

– Не в лосинах, сударыня, врать не буду. И не в пасхальных панталонах. Но в трусах, сударыня, во вполне целомудренных и добротных трусах. Ручаюсь, они не вызовут у вас греховных мыслей, но и отвращения тоже не вызовут.

– И приставать не будете? – насмешливо осведомился голос, заметно, впрочем, помягчевший.

– Сударыня! – почти пропел Бруткевич. – Мы недавно перемолвились чудесными репликами из величайшей пьесы. Каким контрастом с ними звучит пошлейший глагол «приставать»! Разве Ромео «приставал» к Джульетте? Нет, он был влеком неодолимым влечением, простите за «масляное масло». Но я, сударыня, далеко не молод, мне уже пятьдесят пять, и влечение, да еще неодолимое, для меня нонсенс. Короче, нет, приставать не буду! В крайнем случае, чуть-чуть уболтаю с невинной, сударыня, целью: убедиться, что хотя бы язык у меня еще работает.

Язык, безусловно, работал. И за себя трудился, и за голову, потому что та была пуста и легка. Потому что рассвет втягивал в свое веселое буйство все мысли Бруткевича – а язык... что язык... он у Георгия иногда производил самый необязательный треп, самую необременительную болтовню, самое хмельное словоблудие. Действующее, впрочем, на женщин безотказно, поскольку никак не могут, бедолаги, отучиться любить ушами, готовыми к навешиванию теплой, ублажающей лапши.

Вот и «сударыня», совсем недавно принимаемая за собаку, выдала в ответ не прежний жалостный скулеж, не хриплый рык, а вполне живенькое «ха-ха» и вполне живенькую фразу:

– Ладно, зайду. Но чур: не смотреть и не приставать.

Прошуршали шаги, проскрипели двери... коттеджа, номер, ванной... Долго плескалась вода, потом спину чуть пощекотало шевеление воздуха... Георгий понял, что плаксивая «сударыня» замерла в проеме балконной двери, и переместился влево, освобождая ей место у перил.

Постояли молча, блюдя договор. Потом, любуясь рассветом, она восторженно вздохнула и чуть скосила глаза в сторону Георгия, конечно же, только для того, чтобы полюбоваться еще и отблесками зари в окнах коттеджа, расположенного чуть левее. Разумеется, он тут же взглянул ответно, и, разумеется, только затем, чтобы разглядеть игру окон коттеджа справа.

«Его мужественный и ее прелестный профили навсегда завоевали их (владельцев профилей) сердца» – хотелось бы написать именно так... все же кульминация!.. однако...

Однако кульминация обрела вдруг характер боевой тревоги, и они устали друг на друга, как два враждующих кота, случайно столкнувшиеся на «ничейной» земле и понимающие, что одному из них живым отсюда не уйти.

– Вы-ы-ы?!?! – угрожающе провыл Бруткевич.

– О-па-а-а-ньки! – на октаву выше, но не менее угрожающе провыло женское существо.

Именно «женское существо», а не женщина! Потому что никак не мог Георгий уловить хоть частицу животворящего начала «инь» в той, кого мысленно именовал всегда «тварью» и «сукой»! И даже не «существо женского рода», потому что слово «род» подразумевает что-то естественное, укорененное... а «эта вот...» – могла появиться рядом с божественным рассветом только как зловецкий сбой эволюции.

Но все-таки... все же... существо женское, ибо только наличие вечного начала «инь» дает возможность вскидывать голову так гордо и независимо – и всего-то через пять минут после долгого и безутешного плача.

Глава вскидывалась все надменнее, уже не горделиво, а с гордыней – и высокомерная принцесса промолвила, наконец, копающемуся в дерьме свинопасу:

– Сожалею, господин Бруткевич!

И дунула в коридор. И быстро стихла отрывистая, злая дробь ее шагов.

Пометавшись в бешенстве по номеру, он твердо решил уехать из санатория сразу после завтрака. Обидно, конечно, столько мечтать о хотя бы двух днях отдыха, скрыться в соседней области – и именно здесь толкнуться с визгливой, упорной шавкой, с инквизиторским упорством облаивающей каждый его шаг.

Нет, обратно к чертовой матери, в Недогонез, в постылую квартиру, где ему никогда не покажут даже краешек такого рассвета, но зато и не заставят так постыдно размякнуть и пропустить удар.

Он пришел в ресторан одним из первых, отлично, надо признать, поел, ... а потом взяли свое сытость и бессонная ночь... потом четырехчасовой крепчайший сон на перестеленных, нежно ласкающих тело простынях чуть успокоил... даже нет, не успокоил, а позволил взглянуть на все по-другому.

Почему, черт возьми, он умел на ринге биться до конца? До того вознаграждающего за терпение мига, когда срабатывала коронная «двойка» боковых: выстреливает левая, и отпрыгнувший соперник не успевает разминуться с пробивающим защиту ударом справа. Хлестким, добротным ударом, с аптекарски дозированным доворотом тела, с внезапно прорвавшимся желанием смять, добить, раздавить.

«Почему?» – спрашивал себя Бруткевич, пританцовывая и рассекая воздух легендарными боковыми «двойками», – почему меня хватало на первобытный кулачный бой, но в обычной жизни никогда не получалось держаться до победного? Почему я всегда уступал? Потому что они сильнее?..левой-правой. Раз-два... Нет, не потому. Просто я первобытно агрессивен только во время кулачного боя, а они – всегда... Раз-два. Правая запаздывает... Так что, бросим на канаты полотенце? Сбежим, чтобы эта сучка торжествовала? Нет уж, дорогая!.. Раз-два... Специально останусь. И буду часто попадаться на глаза. И здороваться на редкость приветливо... Раз-два... Посмотрим, кто кому сильнее изгадит эти два дня!.. Раз-два. Раз день, два день.левой-правой. Решено! Время отдыхать!»

И отдых получился! С плаксой-сучкой нигде не пересекся, хотя не лишал себя ни озера, ни кинозала, ни, тем более, концерта джазового пианиста (из местных, но очень даже ничего).

Нигде не промелькнула вызывающе пышная рыжая грива, излишне волевой подбородок – а над ним плавно-изогнутые, покойные губы, которым полагалось петь колыбельную и рассказывать сказки, а они вместо того выплевывали ядовитые вопросы: «Георгий Георгиевич, вы утверждаете, что отладили в „Недогонезпроекте“ эффективное управление, а Контрольно-счетная палата отмечает, что в вашем Нижнемаховском филиале десять свинок полгода получали зарплату при полном отсутствии на ферме свиней. Так, по-вашему, выглядит эффективность?» И в ответ на его: «Это действительно волнует читателей популярной газеты „Наш день“?» – молниеносное, сбивающее дыхание и заставляющее бессильно сжимать кулаки: «Вы правы, читателей популярной газеты „Наш день“ гораздо серьезнее волнует, почему полтора миллиарда бюджетных денег доверены бывшему геофизику, который не может посчитать, сколько в филиалах его предприятия свиней и сколько свинок»...

В общем, гриву, подбородок и губы Бруткевич за два дня нигде не увидел, а потому логично было предположить, что плакса, испугавшись, смылась из санатория сразу после сцены на балконе.

В превосходном состоянии победившего духа Бруткевич утром в понедельник позвонил секретарше Оле и объявил, что задержится в санатории до вторника. Панически его уважающая Оля горячо одобрила мудрое решение в возгласила «берегите себя!» с такой тревогой

в голосе, будто всерьез опасалась, что и в санатории начальник может перетрудиться, занимаясь проблемой экспорта облагороженного российского дерьма в дальние пустынные страны.

Впереди был ласковый майский понедельник, санаторий опустел, и на пляж Бруткевич пришел уже в превосходнейшем состоянии еще более победоносного духа. И... «Твою ж мать!» – едва не выкрикнул он, заметив рыжую гриву над ближайшим к кромке воды лежаком. Поэт бы сравнил эту приметную прическу с маяком судьбы или с костерком, манящим усталых путников; прозаик упомянул бы ворох блистающих предсмертной красотой кленовых листьев... Но Бруткевич представил другое: как запускает пятерню в эту плотно спрессованную копну, как тащит верещащую обладательницу в озеро – и макает, макает, макает с равномерной неумолимостью станков-качалок, добывающих черное золото на буровых российских олигархов. Однако с «мечтой» этой пришлось тут же расстаться, поскольку на соседнем лежаке скорчилась маленькая фигурка, по всей видимости, дочь рыжей ведьмы – и мрачно напевая «Суждены вам благие порывы, но свершить ничего не дано!», Бруткевич улегся метрах в тридцати от гривы (копны, вороха, костерка), у корней неохватно-широкой сосны, красующейся у озера с екатерининских, как утверждали рекламные буклеты, времен.

Поскольку озеро разлилось в небольшой впадине (к песчаному пляжу приводил спуск из семи ступенек монументальной каменной лестницы), а дерево расположилось у самого обрыва, то часть его корней, вертикально уходивших в песок, были похожи они были на гигантские артрозные пальцы, вцепившиеся в отвесную стену, чтобы последним усилием подтянуть к ее краю старое, кряжистое тело.

У этих пальцев Бруткевич и улегся. Солнце проникало сквозь крону редкими блуждающими пятнами; иногда они набегали на глаза и пробивались через зажмуренные веки алым маревом лениво пульсирующей крови.

Так же лениво текли мысли Георгия Георгиевича – лишь слегка завихрялись на много-точиях, как завихряется на перекатах медлительная река.

«Надежно она вросла... взяла свое не высотой, а шириной, прямо не сосна, а соснодуб... дуб, дуб... что-то с ним связано... ах, да, увидев зазеленевший дуб, князь Андрей решил влюбиться в Наташу Ростову... И я вот полежу, полежу, потом подойду к этой рыжей сучке и скажу: „Мария, я решил в вас влюбиться!“ Так и не сказала, откуда она Шекспира хорошо знает... Неужто читала что-нибудь, кроме „Курса молодой ведьмы“ в трех томах?.. „Да, представьте себе, решил влюбиться, несмотря на то, что фигура у вас фиговая, ноги кривые, да и вообще – мерзавка вы редкостная. А почему, спросите вы, я так решил?.. Да вы спрашивайте, спрашивайте, не стесняйтесь, все лучше об этом спросить, чем о свиньях и свинарках...“ – „Поч-ч-чему?“ – прошипит она. А я отвечу... что, собственно, я отвечу?.. какой, однако, бред... разве можно в такую влюбиться?.. а... вот что я отвечу!»

«Мария, с вероятностью ноль целых, девяносто девять сотых Бога нет! Но я, как нехреновый менеджер, хочу подстраховаться на одну недостающую сотую. Моя любовь к вам будет таким актом христианского смирения... нет, самоотречения... самозабвения... ага! нашел! – самосожжения, что когда Господь будет решать, где мне предоставить жилплощадь, я скажу: „В раю, Господи, конечно, в раю! Поскольку ад – в лице Марии – я уже познал в избытке!“ Бог вздохнет и ответит: „Сукин ты сын, Бруткевич!“ Сколько способностей я тебе дал – все профукано! И полагается тебе за это не ад, а адище!.. Но перед финишем ты, хитрожопый Бруткевич, специально вляпался в любовное дерьмо, рассчитывая, что я тебя пожалею...» – «Господи, – возражу я, – обрати все же внимание на то, что нездоровая тяга к дерьму была заложена в меня тобою же! Недаром я занялся проектом, в основе которого – продажа дерьма. Свиного и коровьего. За земную валюту... А теперь я за самую дорогую небесную валюту – за место в раю – пытаюсь всучить тебе любовное дерьмо. Берешь?» – «Ишь ты! – удивится Бог. – Ловит меня на проблеме теодицеи!¹ Тоже мне, новый Лейбниц нашелся... Ладно, беру! Беру, сукин ты сын, господин Бруткевич Георгий Георгиевич!»

– Господин Бруткевич! Георгий Георгиевич! – в третий, наверное, раз повторял детский голос. – Мама сказала, что вы с огромным удовольствием сыграете со мной в шахматы...

...А фигура у ведьмы оказалась первоклассной. И глупо было, ни разу ее толком не разглядев, городить защитные бастионы: мол, раз бабенка злая и визгливая, то все у нее не так. Зато теперь хотелось разглядывать не спеш... хотелось коснуться плеча, но так, чтобы она не подумала, будто он – похотливый старый козел; а еще лучше, чтобы поняла, как по-рыцарски сдерживаемое вождение украшает настоящего мужчину.

...Стоп! Надо сосредоточиться на шахматах. Тем паче, что девчонка уверенно, явно с пониманием, разыграла дебют. До школы ходила, видимо, в спецсад, где языкам, манерам и шахматам учат чуть ли не с ясельного возраста; да и школа, скорее всего, не простая.

– Вы, Георгий Георгиевич, вместо того, чтобы меня исподтишка разглядывать, на доску бы внимательнее смотрели, – очень к месту подала голос язва-мамаша, проклятие, нависшее над Бруткевичем и его проектом, Мария Литвинова, собкор разухабистой московской газеты «Наш день». – Моя Мунька – не просто Мунька, а вундеркинд. Всего девять лет, а уже перворазрядница, некоторых мастеров поколачивает. А у вас, насколько я помню, никакого разряда по шахматам нет.

Бруткевич побагровел, словно его застучали крутящимся у дверей женской раздевалки. Но и подобрался, еще раз ощутив, что противник ему попался безжалостный и без тормозов. А значит, долой чистоплюйские бредни о благородном вождении; значит, куда уместнее уставиться откровенно и нагло, например, на грудь... или на плоский, даже впалый, словно и не выносивший ребенка живот... или ниже, туда, где резинка трусиков натянулась, где образовалась щель, в которую так и тянет заглянуть. И, пробираясь взглядом в эту щель, он ответил как можно саркастичнее:

– Мария, дорогая, вы так наглядно демонстрируете свои прелести, что разглядывать их исподтишка – все равно, что голодному довольствоваться запахами ресторанной кухни, в то время как в зале для него уже расставлены закуски. Кстати, за столь подробную обо мне информацию дорого заплатили? А то могли бы сэкономить, я сам бы, не чинясь, много рассказал.

– Bravo, Георгий Георгиевич, вы все же умница! Только пусть ваше голодное «альтер эго» на горячее не рассчитывает. Придется обойтись легкими закусками, которые выставляются на шведский стол. За информацию дорого не платим. С нами, знаете ли, охотно делятся. Мы ведь отдушина для тех, у кого злость булькает, кто особенно хорошо засыпает, если власть накануне была хоть разочек, но обосрана. Могу, кстати, справочку о вас процитировать, а вы подтвердите, все ли точно.

– Валяйте! – пробурчал Бруткевич.

– Валяю! – по-пионерски звонко откликнулась Мария. – Итак! Бруткевич Георгий Георгиевич, родился в Москве, в мае 1947 года. Мать – пианистка, профессор Московской консерватории. Отец – инженер-экономист, всю жизнь проработал на автозаводе имени Сталина, потом имени Молотова, потом имени Лихачева. Георгий – единственный ребенок, назван в честь предка, командовавшего уланским полком во время войны 12-го года. Учился хорошо. Проявил способности к точным наукам, пению. Успешно занимался спортом, был реальным претендентом на олимпийское золото, но по неясным причинам в сборную Союза не попал. «Двойка боковых Бруткевича» стала устной легендой советского бокса. Окончил МГУ, геофизик. Получил распределение в закрытый НИИ, расположенный в одном из регионов Сибири, но через полгода вернулся в Москву. По слухам, после крупного скандала с директором НИИ. Что это вы, Георгий Георгиевич, то по неясным причинам в сборную не попадаете, то, по слухам, крупно скандалите. Может, поведаете в задушевной беседе?

– Нет! – отрезал Бруткевич.

– Нет, так нет. Понадобится, сами узнаем. Продолжаю. До 91-го года работал в Институте геофизики Академии наук, считался перспективным исследователем, однако карьеру не сделал. Род занятий с 91-го по 95-й год не известен. Чем занимались, Георгий Георгиевич?

– В основном извозом. И немного «челночил».

– Вот и славненько. А то я уж испугалась, что были «быком» у какого-нибудь авторитета. Продолжаю. В эти же годы его жена, малоизвестная артистка театра, и сын, недоучившийся студент, переселились в Соединенные Штаты. А что же вас с собой не взяли?

– Вы не могли бы заткнуться?!

– О личном – заткнусь. Личное – это святое. Да и неинтересное оно у вас. Гораздо интереснее, что наш объект (то есть вы) в 95-96-х годах стремительно вырос в заметного политтехнолога. Работал в основном с кандидатами, финансируемыми нефтяным концерном Ходынского. Провел шестнадцать избирательных кампаний, тринадцать выиграл. Креативен, хороший стратег. К «черному» пиару не расположен. А вот это вы зря. Георгий Георгиевич! Что за странная щепетильность? В избирательных кампаниях либо врут о своем кандидате, либо говорят правду о соперниках. По мне, черная правда всегда лучше белой лжи. Или это для вас – тоже святое. Мне опять заткнуться?

– Премного бы обязали, – чувствуя, как бьет в виски злость, отвечал Бруткевич. – Ваши рассуждения о белом и черном меня не интересуют. Не вам говорить о добре и зле, вы явно по ту сторону от них.

– О! Вот и Ницше из гроба восстал². Вслед за Шекспиром. Недурная подбирается компания, хотя Ницше уже не моден. Предпочтительнее что-то исконное, к примеру, Ильин.

Злость уже пульсировала в таких точках тела, которые раньше о существовании пульса и не подозревали.

Георгий уговаривал себя собраться, пытался укротить собственный взгляд, который упорно лез в узенькую щелочку; он тшился сосредоточиться на партии (а девчонка тем временем тихими ходами накапливала преимущество в центре и на королевском фланге), но...

Его обезволенный организм послушно плелся за голосом Марии, как зачарованные гамельнские крысы брели когда-то за виртуозом-дудочником.

– Вы не против, Георгий Георгиевич, если я перевернусь? А то живот обгорит, майское солнце злое. Вы ведь уже разглядели все, что хотели?

– Разумеется, переворачивайтесь, дорогая Мария, – бормотал Бруткевич, спешно укрепляя королевский фланг, поскольку центр доски был уже потерян навсегда. – Переворачивайтесь поскорее, не так ведь страшно, что живот обгорит, как то, что сердце под солнышком чуть оттает. Последствия могут быть ужасны: не приведи Господь, чувствовать что-то начнете... Что-то человеческое. А обо мне не тревожьтесь, все, что хотел, разглядел. Даже больше, чем хотел.

– О, как узок спектр ваших хотений, Георгий Георгиевич! – Мария перевернулась и одним ловким движением расстегнула лифчик, дабы на загорающей спине не оставалось белых полосок. – Насколько же он уже спектра ваших возможностей! Серый кардинал, любимец губернатора, руководитель крупнейшего аграрного проекта... Правда, проект дурно попахивает, но сами деньги отменно благоухают, не так ли?

Правда, качественная справочка? – совсем по-женски сменила она тему. – Ну, а на меня что нарыли ваши работнички службы безопасности? Ваши бодрячки-отставнички? Хорошо они выполнили ваше задание?

– Я не даю подобных заданий! – огрызнулся Георгий, мучительно изыскивая еще какие-нибудь резервы для спасения короля и собственного достоинства.

– Неужто?! – голову она держала на сложенных руках, звук голоса отражался от песка, становился глуше, оставаясь медоточиво-ненавидящим, и Георгию вдруг стало зябко под палящими лучами. – Да неужто?! Неужто они сами, без ваших руководящих указаний, разговари-

вали со мной так слащаво-бережно? И так мягко расспрашивали, за что я не люблю нового губернатора и вас, его лучшего друга. И смотрели на меня с таким пасторским пониманием, словно знали и мудро прощали тот прискорбный факт, что трахаться я предпочитаю «раком». Да какое там «словно»? разумеется, они изучили ту запись, где совокупаюсь с бывшим вице-губернатором прямо на губернаторском столе, осененном нашим державным триколором. Ведь вам, идеологу избирательной кампании Толоконина, наверняка рассказали об этой записи? А, может, и показали? И советовались, как ее лучше пустить в дело? Но вы, конечно, были против, сказали со снисходительным смешком, что если бабенке приспичит, то для нее и губернаторский стол – находка. Но использовать такой компромат нет смысла, дела и без этого идут хорошо.

Но не угадали, господин заметный политтехнолог, экспортер лучшего в мире дерьма, бабенке не приспичило. Просто за участие в той безнадежной кампании ей пообещали двухкомнатную квартиру. А когда кампания стала совсем провальной, я поняла: кинут, не до меня, себе остатки тянут. А тут Мерлюков сделал предложение, простое, как ситцевые трусы. Кстати, мужик он оказался вполне ничего... И на губернаторском столе, под триколором, когда в огромном здании пусто – крысы-то уже побежали – тоже, знаете, очень ничего. Да и квартиру все же дали.

– Повторяю еще раз, – с металлом в голосе произнес Бруткевич, – я никому и никогда таких заданий не давал. Про запись слышал, но именами участников не интересовался. Так что не стоит впадать в истерику Сонечки Мармеладовой, тем более, что подобные откровения в присутствии ребенка неуместны!

– Спасибо вам за заботу о моем ребенке, но Мунька, когда считает варианты, ничего не слышит. Вот, полюбуйтесь: Мунька! – громко позвала она, но девочка и вправду не шелохнулась.

– Му-у-нечка, котеночек мой! – это уже едва слышным шепотом. И тут дочь встрепенулась. И посмотрела на мать. А та – на нее. И была в их взглядах такая нерассуждающая верность, такая спокойная готовность служить друг другу до последнего вздоха, что злость Бруткевича мигом исчезла по причине полной своей неуместности, а сердце отпустило.

– Маша, – попробовал он роль голубя мира, – давайте перестанем сражаться. Хотя бы сегодня, хотя бы у озера. Что вы так горько оплакивали под моим балконом? Может быть, я сумею вам помочь? Только не думайте, бога ради, что пытаюсь вас перекупить... в смысле как журналистку.

Она долго не отвечала. Потом заговорила с такими интонациями, что Георгий понял: не будет сегодня мира, будет дуэль со смертельным исходом.

– Незачем меня перекупать... в смысле как журналистку. К июню мы с Мунькой навсегда уезжаем в Норвегию. Выхожу замуж за пожилого викинга. Через три недели уволюсь и оставлю вас и ваш дерьмодобывающий проект в покое. Спокойно очищайте фермы от навоза... или делайте вид, что очищаете. Мне уже все это будет безразлично... Вы, конечно, удивлялись, почему именно я наезжаю на вас так резко? Конечно, заказ оппозиции, конечно, «бабки». Но не такие эта гопота платит «бабки», чтобы так наезжать. Просто я вас ненавижу, Георгий Георгиевич! Хотя нет, «ненавижу» – не то слово... Представьте, что имеете возможность полностью истребить какой-нибудь вид: животных, насекомых, птиц – неважно. В общем, кого считаете особенно вредным. Кто-то скажет: комаров долой, раз они, твари, кровь сосут; кто-то: грызунов на фиг, они чуму переносят... Я бы уничтожила соловьев. Потому что заливаются они сладко, но на самом деле предупреждают, что хапнули территорию и никого другого на нее не пустят. А мы их слушаем, сопли распускаем, хотя смысл их песен вполне прост, никакой поэзии: не лезьте – заклюю! Вы ведь классический соловей. Георгий Георгиевич! От ваших звонких трелей Хафиз с ума бы сошел, Шекспир – обрыдался. Хотите сказать, что не мне вас судить? Но я ведь лучше вас. Да, когда нужно было отгрызть свою крошку, делалась бл... ю.

Опять припрет – опять стану. Но никогда не облеку это в ваши соловьиные фиоритуры, каденции... как это у певунов называется?

...Ваш знаменитый проект – это беспредельный, запредельный цинизм, Сатана бы такое не придумал. А вы придумали? – bravo! Хотите кормить больших начальников – черт с вами, кормите! Тянете «трохи для себэ» – тяните! Не вы, так кто-нибудь другой кормил бы и тянул, может, даже больше и наглее. Но что ж вы заливааетесь-то при этом так увлеченно, зачем все эти трели о будущем? У России нет будущего, вы это прекрасно понимаете. Есть только следующее. И несчастного народа, который вы, якобы, кинулись спасать – тоже нет. Остались профессиональные бандиты, профессиональные вертухаи и извечно никакие, те, кого называют «прочие». И что у меня с вами всеми общего? То, что бегло говорим на одном и том же языке? Да я еще на двух языках так же бегло говорю! И Россия мне никакая не Родина-мать. Она мне – Родина, твою мать! Так что я свой выбор сделала. А вы «трельте» до самого Судного дня – и бог с вами! Хотя лучше – пусть не с вами.

...Да, ревела. Потому что простиалась со страной. И с могилой матери. И с мечтой, извините за выражение. Потому что была дурой. Русской бабой. А русская баба мечтает сойти с ума от любви. Боится, знает, что от такой любви вся ее жизнь – псу под хвост... но мечтает. А я, с той самой минуты под балконом, больше не мечтаю. Отревелась – и стала норвежкой. Так что ваше «Пшла вон!» стало хорошей, весомой, жирной, вонючей точкой. Хотите – радуйтесь, хотите – обижайтесь, мне все равно!

А Бруткевич и не обижался. Он таких монологов отъезжающих наслушался досыта. К примеру, от собственной жены. Потом от собственного же сына. Нормальная нашенская психопатическая манера: никогда не признаваться, что переезжаешь на новую квартиру, потому что она комфортнее и лучше старой. Нет, исключительно потому, что старая невыносимо засрана. В чем сама же и виновата.

Откуда взялась эта манера у трезвой и расчетливой журналистки – другой вопрос. Впрочем, и ответ ясен – типичная достоевщина. Ну и пусть вместе с ней катит хоть в Норвегию, хоть в Данию, хоть в Танзанию! Лично ему сразу станет легче, когда стихнет самый громкий и злобный голос.

А что, собственно, он так боится этих голосов? Да пусть хоть весь мир визжит, что Бруткевич ворует и кого-то кормит! Он-то сам знает, что это не так! И пусть она бежит, пусть хоть вся страна последует за ней. А он не побежит, как не побежал когда-то вслед за женой и сыном, как не побежал его предок, полковник-улан, с Бородинского поля.

– Георгий Георгиевич, вам мат в пять ходов! – и Мунька снисходительно продемонстрировала, как жертвует слона, как конем и ферзем разрушает броню вокруг черного короля, как ставит мат (что особенно обидно!) пешкой.

– Спасибо, господин Бруткевич! Вы хорошо защищались, и это позволило мне закончить партию эффектной комбинацией!

Ай да парочка! Девятилетняя дочь изъясняется языком шахматных теоретиков; сумасбродная мамаша (куда делись трезвость и расчетливость?!) вопит: «Ура!» так самозабвенно, что расстегнутый лифчик почти свалился с идеальных полушарий... И вот это типично расейское безумие – в чинную, суровую Норвегию?! На родину тихого неврастеника Ибсена и певучего меланхолика Грига?! Да такой участи и Танзании не пожелаешь!

Мария сидела на своем топчане, одной рукой придерживала падающий предмет, а второй указывала за озеро, за санаторий, туда, где, по ее мнению, раскинулась пока еще беззаботная Скандинавия.

– К фиордам! К фиордам! К фиордам! К всемирной славе моей гениальной дочери! Прощайте, Георгий Георгиевич! Хотите, поминайте лихом, хотите – нет. Хотите, очищайте «немытую Россию» от навоза, хотите – засирайте дальше. Впрочем, это я уже говорила... Вы уходите? Подождите еще секунду, сделайте доброе дело. Не считите за интим, но не могли бы вы мне

лифчик застегнуть? Тут застёжки какие-то супер-навороченные... Сейчас я прилягу, чтобы не так сильно вас волновать, а вы – орудуйте. Мунька, помогай господину советами!

Застёжка и вправду была замысловата. Презируя свою невесть откуда взявшуюся покорность, Георгий пытался соединить что-то с чем-то, а когда вдруг шелкнуло и сомкнулось, то против воли, здравого смысла и минимальной целесообразности осторожно положил ладонь на горячую спину.

Ладони ответила дрожь, короткая, как щелчок затвора, переведенного в положение «Огонь!».

А потом Мария вывернула голову и взглянула на Бруткевича, не жмурясь от бьющего в глаза солнца. Но лучи, скорее всего, просто обрывались у самой радужки, потому что навстречу им перемешанным потоком били изумление, неверие, ужас берлиозовского «Неужели?!».

– Вам больно? – поражаясь нелепости всего сущего, спросил Георгий.

– Нет... Уютно...

До самого вечера ничего больше не произошло. До самого вечера они не сказали друг другу ни слова. Молча, без визгов и уханий, плавали в еще холодной майской воде. Молча брели с пляжа. За обедом – очень объяснимо и совершенно необъяснимо – сидели за одним столом: молча, в ответ на взгляд, передавали хлебницу, солонку или салфетки; молча, кивком, благодарили.

Мунька тоже молчала, наверное, обдумывала какой-нибудь вариант дракона в сицилианской защите.

Вечером за Георгием приехала его служебная машина, а за Марией – какой-то плечистый мужик на солидной «Тойоте». Смотрелся крупным бизнесменом, но под любым ее мимолетным взглядом суетился, как клерк, проходящий испытательный срок в очень престижной фирме.

Осталось сесть на переднее начальственное место – и уехать, чтобы день за днем, не разделяя их и не различая, бултыхаться в густом малоаппетитном вареве, которое именуется динамичной жизнью российского региона в начале третьего тысячелетия от Рождества Христова.

Осталось взглянуть вслед рванувшейся «Тойоте» и поздравить себя с тем, что аравийский ураган по имени «Мария» (или «Мириам», раз уж аравийский) задел его самым краешком: только швырнул в лицо толику прокаленного песка, от которого до сих пор печет глаза.

Но она подошла к нему, и он понял, что угодил в самый центр урагана.

– Нам лучше встретиться не сразу, а... через десять дней. Мне нужно подготовиться, да и разогнать этого (небрежный кивок в сторону «Тойоты»). И вы, пожалуйста, тоже разгоните всех своих баб. Ни к чему, чтобы у нас с вами под ногами кто-то путался... Как не вовремя! Одно случайное прикосновение – и все... Вы мне ладонь на спину положили... а я, как дворняжка... которая бродила, бродила – и вдруг почувствовала руку хозяина... Бред какой-то! Отвал башки полный! Называется, отревелась, попрощалась... Но делать нечего, встретимся ровно через десять дней... Да, кстати, забыла спросить: вы меня любите?

Глава 2

Дебют. 44 год до Р. Х. Март

*Смягчиться может тот,
Кто сам способен
Себе просить смягченья у других.*
В. Шекспир

Конечно же, Яхве не смог себе изменить – даже играя черными, захотел диктовать свою волю: сразу же обозначил активность на ферзевом фланге, а на королевском и в центре выстроил пешечную цепь, обманчиво мирную, как вроде бы: «Нас не тронут – и мы не тронем». Люди позже назвали это вариантом дракона в сицилианской защите.

А я просто выжидал. И дождался. Лишь только Он сместил ладью и приготовился вскрыть вертикаль «с», я в первый раз воспользовался своим правом.

– Так почему же, Децим, ты считаешь, что идти в сенат необходимо?

– Великий Цезарь... пренебрежение к сенату... сегодня это неразумно.

– Именно сегодня?! Именно в день мартовских ид¹ – неразумно, а, скажем, пятью днями раньше было бы в самый раз?

Децим побледнел и покрылся потом. Диктатор на расстоянии чувствовал, какой он холодный и липкий, этот пот паникующего слабака. Да, что и требовалось доказать. Цезарь давно подозревал, что его военачальник Децим Юний Брут – ничтожество, подозревал, но не отталкивал, даже обещал консульство года через два. Хотя отлично помнил, как вяло Децим командовал флотом при осаде Массилии, пока ему, Цезарю, пришлось возиться с войсками Помпея в Испании. Руководивший сухопутными силами Гай Требоний методично возводил осадные сооружения вокруг неприступного города, а Децим только рассылал во все концы моря корабли для сбора слухов: кто же побеждает на самом деле – Цезарь или Помпей?

Но Требоний... Требоний – настоящий солдат. Почему же и он в заговоре?... Ладно, об этом потом, а пока надо дожать этого потеющего слабака. Тогда, если дойдет до драки, Децим ударит со страхом, а не со злостью...

Что когда-то писал краснобай Цицерон? – и память моментально восстановила фразу, процарапанную на вощенной дощечке четким почерком оратора, давно уже пишущего и живущего исключительно ради благодарной памяти потомков: «Цезарь – ярчайший образец доброжелательного душителя²».

Вот и отлично! Надо продолжать душить, но исключительно доброжелательно.

– Децим, бедняга! Ты, по-видимому, захворал! Озяб, дрожишь. Выпей вина; хочешь, велю поставить рядом с тобой жаровню?

– Да, благодетельный Цезарь, – проблеял тот, утирая краем тоги крупные капли на узком, шишковатом лбу, – жаровня принесла бы мне облегчение. Спасибо, ты так заботлив...

– Это первейшая обязанность полководца. Посиди, погрейся, а я отлучусь ненадолго, Корнелий Бальб ждет... Вообрази, очередной заговор... меня, кажется, опять хотят убить, избавить Рим от тирана. Боги, как все это глупо! Я даже не сержусь; сам видишь, спокоен и бодр. Ведь в городе полно моих ветеранов. Стоит мне скомандовать – и они за полдня изрубят заговорщиков в фарш... Смешно... Да улыбнись же, Децим! Неужели тебе так скверно, что не можешь улыбнуться, когда твоему командиру так смешно?... Странно... Если тебе так скверно, то стоило ли трудиться, заходить ко мне только для того, чтобы убедить пойти на сегодняшнее заседание сената?

Стоп! Пока довольно! Прославленный храбрец, ничтожество Децим Юний Брут, родственник прославленного свободолюбца Марка Юния Брута, того и гляди, захрипит, как загнанный мерин.

Быстрее! Быстрота – главное оружие Цезаря, и он пронесся по внутреннему двору, перистиллю, так стремительно, что раб-нумидиец поклонился не ему, а вихрю, вызванному перемещением некрупного тела.

Многие вот так же склонялись вслед ветру «Цезарь», вихрю «Цезарь», буре «Цезарь». Потом, когда наступало затишье, распрямлялись, начинали кричать о бесценности свободы, о своем – и только о своем – праве на исконные земли и богатства, но вновь налетала буря, и звучание знаменитого имени вновь заставляло повиноваться.

А вот Корнелий Бальб лишь коротко кивнул в ответ на энергичное приветствие полководца. Да и зачем ему, олигарху, знающему все тайны Рима, демонстрировать преданность, если много лет назад, с той самой первой команды – «к оружию!» – которую при штурме Митилен выкрикнул молоденький офицерик Гай из древнейшего рода Юлиев, Бальб понял, что Цезарь – первый, а для всех иных смертных счет начинается с тысячи. Теперь несметно богатый Корнелий постарел, погрузнел, стал раздражающе медлителен, но волшебным образом поспедал за молниеносной мыслью диктатора.

– Итак?

– Всего их – двадцать четыре. Убийство будет ритуальным, каждый нанесет по удару. Кроме Гая Требония.

– Отказался?

– Вызвался задержать Марка Антония у входа в курию.

...Ничтожества! Слабаки! Боятся, что они с силачом Антонием, встав спина к спине, станут неуязвимы. А без Антония он один, по их разумению, будет хнычущей жертвой?! Ха!.. Но Требоний, стало быть, не хочет обнажать меч против своего полководца. Он во всеуслышание называет себя республиканцем, но нутром понимает, что настоящий солдат не может служить **такой** Республике. Однако ж вполне может подчиниться Року, если Рок сам как-нибудь убьет Цезаря. Немного демагогично для солдата, зато позволит «честному вояке» сохранить самоуважение.

– А что Децим Брут?

– Ему поручено уговорить тебя пойти в сенат. Они опасаются, что ты, против обыкновения, прислушаешься к прорицателям.

К прорицателям?! Ах да, это же гаруспик Спуринн предсказал ему смерть в мартовские иды. Очень кстати...

– Бальб, скажи Кальпурнии, что я напуган ее тревожным сном и гаданием Спуринна и велел совершить еще жертвоприношение. Проследи, чтобы при вскрытии животного обнаружили что-то очень для меня неблагоприятное.

– Цезарь, зачем? И так ведь все ясно. Скомандуй, и к полудню все заговорщики будут уничтожены!

– А к закату будут оплакиваться как жертвы моей подозрительности и трусости. Через три дня я выступаю против парфян. Нужен надежный тыл, а в Городе будут судачить, что Цезарь – не богами ниспосланный правитель, а боящийся заговоров старик... Ступай! Нет, погоди. Еще раз перечисли самых опасных заговорщиков³.

– Возглавляют, как ты и предвидел, Гай Кассий Лонгин и Марк Юний Брут.

Они воистину прелестны, эти brave помпеянцы! Им же, Цезарем, прощенные и обласканные! Оба назначены преторами. Оба – будущие консулы. Оба, к сожалению, ничтожества: и Брут, к еще большему сожалению – в первую очередь.

Что за несчастная судьба у счастливого Цезаря – возиться с ничтожествами! Хотя Кассий вроде бы неплохо сражался во время неудачного похода Красса на парфян. Но зато спустя несколько лет трусливо и напыщенно сдался победоносному Цезарю вместе со всем огромным флотом Помпея. Может быть, это его и гложет: держал Цезаря в руках, а теперь из рук Цезаря вынужден кормиться должностями?

Любопытный разговор с Брутом состоялся после Фарсала. Помпей тогда удрал в Египет навстречу позорной смерти, достойной такого слабака, как он. А уцелевший Марк Юний прибыл с повинной в лагерь победителя... Потом! Воспоминания потом! Хотя Фарсал всегда приятно вспомнить, славная была драчка!

– Гай Требоний. Децим Юний Брут. Гай Сервилий Каска. Он будет бить первым.

Каска беден, преисполнен самомнения, а потому завидует всему миру, особенно таким, как Цезарь. Кроме того, должен ему много денег... Слабак! Странно, что вызвался бить первым. Но ударит плохо. Как слабак.

– Его брат, Публий Сервилий Каска...

Что один брат, что второй...

– Сервилий Сульпиций Гальба. Луций Мануций Басил...

И эти туда же! Оба – его легаты. И хорошие легаты. Гальба ему тоже сильно задолжал. Понятно, что проще зарезать кредитора, чем расплатиться, но все же обидно. Они – солдаты, сумеют ударить хорошо, но... но ударят нехотя, понадеются на удары других.

– Луций Киллий Кимвр. Будет, чтобы отвлечь твоё внимание, долго просить вернуть из ссылки брата.

Боги, какой дурак! Этому-то чего не хватает? В прошлом году был претором, в следующем должен стать наместником Вифинии. Стало быть, спешит. Спешит отхватить побольше и побыстрее. Как стареющая куртизанка...

– А Цицерон?!

– Цицерон ничего не знает о заговоре.

– Это невозможно!

– Диктатор, Цицерон пребывает в тоске по бывшему величию, но о заговоре ничего не знает.

– Бальб, ты постарел и поглупел.

– Диктатор, сведения абсолютно точны: Цицерон ничего...

– Абсолютно точных сведений в природе не существует! Задумать убить тирана во имя идеалов Республики – и не привлечь Цицерона?!

– Они хотят после твоей смерти ненадолго сделать Цицерона диктатором.

– Все равно чушь! Тебе подсовывают идиотскую чушь! Кто твой осведомитель?

– Цезарь, я дал ему слово, что открою имя только тогда, когда ты согласишься обсудить его условия. Ты согласен?

– Корнелий, посмотри мне в глаза. Кто твой осведомитель?

– Цезарь, молю тебя...

– Корнелий, а я просто прошу...

– Марк Юний Брут.

Боги! Боги! О, если б он умел хохотать, как они! Брут – прямой потомок основателя Республики; Брут, который развелся с красавицей женой, чтобы жениться на уродине Порции, дочери ревнителя республиканских традиций Катона; Брут, суровый и чистый, как одеяние весталки, возглавил заговор – и донес на заговорщиков?! Как шумит в ушах... Это боги начинают хохотать... над чем в этот раз? Над ним, Цезарем, считающим себя знатоком людей?...

– Цезарь, во имя Геркулеса, что с тобой? Припадок?!

– Не кричи, Корнелий, у меня шумит в ушах от хохота богов. Ты лучше шепчи, богов ведь невозможно перекричать... а к твоему шепоту они прислушаются – и замолчат. Повтори еще раз, мне на ухо, тихим-тихим шепотом: кто твой осведомитель?

Исполнительный Бальб сотворил из своих мясистых губ узкие окаменевшие полоски и зашептал так тихо, что не слышал, наверное, самого себя. Меха-легкие почти замерли в его борцовой груди – и гласные влетали в ухо Цезаря на столь слабых струйках воздуха, что умирали сразу же. Но согласные прорывались через каменные полоски губ, прорывались долго, с трудом, а прорвавшись, разворачивались в имя: в полное скрытой угрозы «м», в азартное «р», в бравурное «б».

Так ветераны Цезаря просачивались при Фарсале в тыл помпеевой кавалерии – малыми группками, вроде бы случайно – а потом вдруг сомкнули строй!

Какая веселая получилась драчка!

С моря дул свежий ветерок, дышать было легко. Не то, что днем, когда смрад фарсальских болот и тысяч погребальных костров отбивал охоту есть, двигаться и жить.

Марк Юний Брут дышал прерывисто, волнение мешало ему говорить, а он старался быть красноречивым, произносил длинные фразы, и Цезарю тоже приходилось прибегать к этому нелюбимому им строю речи. Он еще в юности понял: хочешь подчинить собеседника – говори, как он, жестикулируй, как он, дыши, как он. И частое дыхание, прерываемое глубокими вдохами, позволяло ему сейчас полнее наслаждаться юношеской свежестью морского ветерка.

– Традиции рода, Марк, вещь обоюдоострая: да, они дают тебе уверенность в решениях и поступках, ибо за тобой череда славных деяний предков; но с другой стороны, ты незаметно для самого себя начинаешь кутаться в традиции, как в плащ, и перестаешь чувствовать Хронос.

– Я, Цезарь, верен не традициям рода, а идеалам Республики, которые выше не только деяний и принципов предков, не только самого Юпитера – прости, Великий понтифик⁴, если я кощунствую – но и выше Хроноса. Ни одно царство не могло устоять перед Римом, как бы ни был талантлив царь и храбры его воины, и не мощь Рима побеждала, не дисциплина римских легионов – это Фортуна благоволила идеалам Республики, это Боги склонялись перед идеалами Республики.

– Марк, ты мог бы стать настоящим солдатом, так не становись демагогом. Они пышно расцветают, но увядают быстро. Мы с твоим тезкой, Цицероном, обучались красноречию у одних учителей, с почти одинаковым успехом. Но он, в отличие от меня, солдата, стал оратором. Не спорю, великим оратором, получил титул «Отца отечества» – а потом, словно мимоходом, был выброшен на политическую помойку ничтожным авантюристом Клодием.

– Но за ничтожным авантюристом Клодием стояли огромные деньги Красса и огромное влияние Цезаря.

– А почему же за Цицероном не стояли ничьи деньги и влияние? Почему он поддержал Помпея, а не меня? Где гражданское чутье «Отца отечества»? Где его чувство Хроноса? Почему, наконец, я не воспеваю идеалы Республики, а воюя, наполняю ее казну галльскими богатствами и британской данью? Что ж это за идеалы, которые нуждаются в завоеваниях Цезаря, не верящего в идеалы?

– Ты хороший полемист, Цезарь, и величайший гений войны со времен Александра Македонского. Но ты и величайший циник, а потому люди никогда не будут верны тебе по-настоящему. Ты постоянно будешь воевать, чтобы развращать Республику все более богатыми трофеями, и истинные патриоты Рима когда-нибудь всерьез задумаются: «Что делать: служить Цезарю, чтобы выиграть очередную войну, или убить Цезаря, чтобы надолго обеспечить мир?»

– Как же ты отвечаешь на этот вопрос, Марк Юний?

– Пока служить Цезарю... помочь ему закончить гражданскую войну.

– И это после того, как помогал Помпею, пока у него были шансы?... Ну-ну... Завтра я с несколькими кораблями поплыву к твоему приятелю, Кассию.

– Это опасно. Цезарь. Кассий командует огромным флотом Помпея и командует решительно.

– Ничуть не опасно, Марк. Мне надо лишь успеть заговорить с ним и взглянуть ему в глаза. Боги дали мне такую силу, что никто из смертных не может ей противостоять. Но, знаешь ли, боги любят смеяться. Иногда даже хохотать. Дав мне невиданную силу, поместили ее в никудышное тело. Поразили странной болезнью; врачи называют ее комициальной...

– Так твои припадки – не вымысел?

– Все начинается с хохота богов. Он звучит в ушах – тихо, потом все громче, потом в глазах темнеет и я сотрясаюсь, хохочу вместе с богами... Над чем? – хотел бы я однажды понять. Но никогда не пойму, потому что после припадка ничего не помню, только ужасно болит голова. Я победил свое никудышное тело, истязал его тяжелейшими упражнениями, спал на повозке или голой земле; под дождем ли, снегом ли, в мороз ли, в жару – все равно. Теперь я провожу на коне дни и ночи, в рукопашной могу одолеть десятерых. Я самый неприспособленный и выносливый солдат во всей Ойкумене... но в любую минуту могу вместе с богами забиться в судорогах хохота. Как ты думаешь, над чем они смеются?

Что это? Брут, кажется, смотрит на него с жалостью? Он осмеливается смотреть на него с жалостью?!

– Я преклоняюсь перед тобой, Гай Юлий! Ах, если бы ты преклонялся перед идеалами Республики!

– Оставь в покое идеалы, Марк! Они не помешали свершиться двум опустошительным гражданским войнам. И если я не выстрою прочную систему единоличного правления, то будет и третья такая война, и седьмая, и десятая. Хочешь сохранить Рим, помогай мне. Будучи квестором в Киликии, ты удачно спекулировал, хорошо пощипал тамошних земледельцев, накидывая на официальные налоги еще пятьдесят процентов в пользу своего кошелька. Идеалы Республики этому не препятствовали – и прекрасно! Теперь ты богат и неподкупен. Однако я подкупаю тебя не деньгами, а честью быть лучшим помощником Цезаря. И еще. Молва твердит, что ты – мой сын. Ты веришь в это?

– Да.

– Тем не менее, сражался против меня. А ведь по приказу Помпея был убит и твой отец... твой законный отец.

Брут остался совершенно спокоен, хотя конечно же услышал, сколько угрозы в голосе победителя.

– Ладно... Все это – в прошлом. Только богам известно, был ли ты зачат тогда, когда мы с твоей матерью любили друг друга. Но для меня гораздо важнее – солдат ты или слабак. Ради крошечной возможности сохранить гражданский мир я отдал свою дочь Юлию замуж за Помпея. Она умерла, моя драгоценная, моя единственная. Но даже если б она была сейчас жива, я грошил бы Помпея так же безжалостно.

Перед битвой я приказал своим центурионам не причинять тебе ни малейшего вреда. Чего бы это ни стоило... Не Боги позволили тебе уцелеть и отсидеться в камышах фарсальских болот – не Боги и не Фортуна, а я и мои солдаты. Но такую слабость я могу себе позволить лишь единожды. Помни это.

Двадцать три человека, все вооружены. На первый взгляд – безнадежно. На второй и сотый – тоже. Так что же, не идти в сенат? Нет, не годится... надо как-то выиграть время, ограничить их возможность ударить наверняка... Что-то такое сказал ему Брут, когда они расставались под Фарсалом... Какую-то важную фразу... Ага! «Ты невероятно смел и удачлив,

Цезарь, но все время нападаешь и мало заботишься о защите. Советую тебе никогда не снимать доспехи».

Занятно! Брут, разумеется, эти слова помнит, а потому... Потому, потому... Допустим, на нем будет необычно просторная тога, со многими складками. Доспехов под ней (к сожалению) не будет – могут случайно обнаружить и понять, что он знал о предстоящем нападении, подготовился к нему – значит, они нападали не на незащищенного... Но создать видимость... так развернуть плечи, будто они схвачены тяжелыми боевыми латами, прикрывающими грудь и живот. Тогда Брут велит остальным мерзавцам бить в шею... или в пах, или сзади. Нет, они хоть и ничтожества, но все же патриции – удары в пах и спину постыдны. Значит, только в шею. Значит, будут суетиться, толкаться, мешать друг другу.

Есть, есть шанс продержаться!

– Бальб, предупреди наших в сенате, что готовится драчка. Они увидят всех, кто на меня нападет, пусть будут наготове, ждут моей команды «К оружию!» – и тогда рубят. Никто не должен остаться в живых; Антонию я приказываю убить Гая Требония и перекрыть выход из курии. Ты кинешь мне меч, и десяток я изрублю лично.

– Гай, тебя убьют до того, как ты скомандуешь.

– Помолчи!

...Но они могут занервничать и не решатся напасть. Значит, нужно заставить решиться.

– И еще. Сенатор Попилий Лена на каждом заседании выпрашивает у меня какие-нибудь подачки. Передай ему, пусть соберет все свои просьбы в кучу, сегодня я удовлетворю его полностью. Но при двух условиях. До моего появления он должен с таинственным видом подойти к Бруту и Кассию и сказать, что желает им успеха. Но лишь только я войду в курию, пусть ответит меня в сторону и начнет просить. И все время при этом посматривает в их сторону. Потом я скажу громко: «Нет, мне трудно в это поверить!» и пойду к своему креслу.

– Цезарь, я подчинялся тебе во всем и беспрекословно. Но ничего этого делать не буду.

– Еще с полчаса, пока я окончательно все взвешу – не будешь. А потом, если велю, сделаешь все в точности.

– Гай, тебе надоела жизнь – отвори себе вены. Но не иди на заклятие.

– Хорошо, Корнелий, оставь меня, побудь в соседнем зале. Я тебя скоро позову.

Бальб вышел, а Цезарь прилег на неудобное ложе – специально сделанное неудобным, чтобы напоминать о походных ночлегах, когда так хорошо думается под переключку часовых и уютное ржание лошадей, когда быстрые, четкие мысли с ладностью хорошо пригнанных камней укладывались одна к другой, и возводили очередной прочный дом на фундаменте, называемом «Цезарь повелел!»

Но сейчас надо собраться, выпить вина, сегодня совсем безвкусного – и выбрать всего лишь из двух вариантов. Это такой редкий подарок богов: выбор всего лишь из двух вариантов!

Думать о себе надо без уязвимого, незащищенного «Я». Думать в третьем лице, как диктовал свои записки о галльских войнах, о гражданской войне. Когда в месиве крови, жадности и предательства, в фарше изрубленных тел барахтается некто «Цезарь», не имеющий будто бы никакого отношения к его собственному, никудашному, замученному ранами и эпилепсией телу.

Надо вообразить, что скачет, заложив, по своему обыкновению, руки за спину, управляя конем лишь коленями – и диктует сразу трем секретарям.

Первому. «У Цезаря были только две возможности. Пойти в сенат. Побудить заговорщиков напасть на себя. Проявить все свое искусство рукопашного боя...»

Второму. «Или, сказавшись больным, не пойти в сенат. Отсидеться дома всего только три дня. Потом выступить в парфянский поход, понимая, что справиться с Парфией быстрее, чем за два-три года – не удастся...»

Третьему. «Цезарь вспомнил, как его, совсем еще молодого офицера, послали за кораблями к вифинскому царю Никомеду, и у юноши возникло влечение к зрелому, исполненному мужества варвару».

Первому. «... продержаться безоружному, не получив тяжких ранений, до тех пор, пока остальные сенаторы придут в себя от ужаса, вызванного творящимся на их глазах злодеянием».

Второму. «За время похода, назначая вожаков заговора на важные должности в разных концах государства, разобщить их, дать время одуматься – а не одумаются, так и передушить поодиночке. Брута при этом – с собой в Парфию».

Третьему. «Никомед быстро заметил нежные взгляды, которые бросал на него Цезарь. Он призвал его в свои покои; но когда не по-мужски разряженный юноша предстал перед ним, то царь не поспешил приласкать влюбленного, а сказал: «Подумай, юнец, кто ты: настоящий солдат или слабак. Если солдат, то никакие шалости с тобой невозможны – солдату приказывают, солдата убивают, но солдата не используют. Ну, а если не солдат, то я охотно использую тебя и твой тощенький задок».

Первому. «Верные сторонники Цезаря разом обезглавят оппозицию, эту свору вознесенных диктатором, неблагодарных людишек. И народ Рима поддержит такое очищение от скверны: Цезарь даст очередной массовый пир с бесплатным вином, хлебом и миногами и отправится в очередной победоносный поход, расширяя владения Рима. Деморализованный сенат наречет Цезаря царем и основателем династии – и с прогнившей Республикой будет, наконец, покончено».

Второму. «Победив парфян, Цезарь с триумфом вернется в Рим, даст несколько массовых пиров с бесплатным вином, хлебом и миногами и добьется от разобщенных сенаторов наречения его царем и основателем Династии. Таким образом, обе возможности приводят к нужному результату, только в первом, переполненном опасностью случае, Рим сам – и очень быстро – смастерит царский трон, а во втором Цезарю придется мастерить его медленно и кропотливо. Возможно, что и безуспешно, если разгромить парфян вообще не удастся».

Третьему. «И тогда Цезарь принял решение: он – солдат, он будет солдатом при любых опасностях. Он будет героем, ибо только герою боги дают такое сжигающее желание быть им».

– Бальб!

И когда тот вошел, диктатор, скинув тогу и оставшись в тунике, разминался.

– Цезарь, я...

– Да, Корнелий, ты, конечно же, категорически против, это написано на твоей физиономии. Вижу, принимаю во внимание, ценю. (Дыхание не сбивается, а ведь почти пятьдесят шесть лет; ай, да старичок! хотя муж его тетки – боготворимый полководец Марий – в семьдесят лет учил фехтовать подростка Гая и гонял его, как зайца...) Скажи-ка лучше, какие условия выдвигает наш идеалист Брут?

Ох, как Бальб расцвел! Появилась надежда на торг. А торговаться банкир диктатора, ведающий попутно его безопасностью, умел. Отжимал все до сестерция.

– Он хочет стать твоим приемным сыном и официальным наследником. Вместо Октавиана. Думаю, это надо обсуждать. Затянуть переговоры на три дня, потом выехать в армию. Уж там-то никто и не помыслит причинить тебе вред. Можно даже взять с собой Брута и посылать его в самые опасные места.

– Значит, торговаться?

– Торговаться, Гай.

– А потом удрать?

– Не удрать, а вовремя ускользнуть от безнадежного боя.

– Или сторговаться с Брутом?

– И это можно. Какая разница, кого усыновлять? Лично мне все равно, кто станет твоим наследником.

– Ты не прав. Октавиан – не просто мой племянник. Он стоит десяти Брутов. Не исключено, что и двоих Цезарей.

Забавно! Он, кажется, почти повторил слова Суллы. Когда тот одолел Мариа и принялся уничтожать его сторонников, то Цезарь, хоть и был совсем еще молод, попал в проскрипционные списки одним из первых – мало того, что родственник поверженного противника, так вдобавок демонстративно отказался развестись со своей первой женой, дочерью Цинны, заклятого врага Суллы. Родственники Гая буквально вымолили пощаду для него, но первый римский диктатор тогда в сердцах сказал: «Ладно, пусть живет, хотя в одном Цезаре таится много Мариев».

И ведь прав оказался, ох, как прав!

– Все, Бальб, прекращаем разговоры. Исполняй. И не хнычь, у тебя абсолютно выигрышная позиция. Если я уцелею, твое могущество возрастет многократно. Если погибну, ты бежишь на родину, в свой семитский город Кадис, и будешь всем рассказывать, что оказался дальновиднее самого Цезаря. Ступай!

...А что случилось бы с Римом завтра, если б сегодня Цезарь, подобно Сулле, отказался от всех своих должностей? Боги! Самое обидное, что вполне могло бы ничего нового и не случиться! Обрадованный Цицерон в очередной раз решит, что его звездный час вернулся. Он произнесет еще две-три речи – конечно же, для истории: напишет еще два-три длинных письма своему другу, аграрному магнату Агтику, а тот письма сохранит – опять же для истории. Тем временем Брут, Кассий и прочие мерзавцы будут болтать о необходимости действовать немедленно и энергично, и дождутся, что всех их отправит в царство мертвых решительный (и туповатый) Марк Антоний. А его, в свою очередь, отправит туда же решительный, не по годам умный Октавиан. Теперь – официальный сын и наследник.

Скучно, когда будущее так предсказуемо! Но каков мерзавец Брут! Хочет, видите ли, стать единоличным властелином. Как будто Цезарь, в поисках наилучшего выбора, не предлагал усыновление никому, кроме Октавиана. Ведь даже Дециму Бруту, потеющему сейчас в зале, предлагал! И все, как один, вернее, как одно многоголовое ничтожество – раздувались от внезапно обретенной значимости и произносили – нет! – вещали: «Благодарю тебя, божественный, за эту высокую честь!»

А Октавиан съезжился, стал еще скромнее и прошелестел: «Ты предлагаешь мне трудную работу, дядя...» Так кому же еще передавать власть, как не этому юному мудрецу?!

Бруту он, конечно же, такое предложение не делал. Хотя бы потому (и Брут сам бы мог это понять, если б не был таким ничтожеством), что усыновление того, кого толпа именует цезаревым бастардом, почти уже де-юре означает признание его матери, Сервиллии, сестры сурового моралиста Катона, всего-навсего шлюхой.

Кроме того, власть в руках бастарда всегда выглядит украденной.

Но все же, чему стоит посвятить остаток жизни, если сегодня отказаться от всех должностей: пожизненного диктатора, пожизненного императора⁵, Великого понтифика? Писать воспоминания? Уже не интересно.

Разве что женщинам? Сплетничают, что счастливчик Цезарь покори́л тридцать племен и покрыл двести женщин. Сам он, разумеется, не считал, но само сочетание: тридцать и двести, – нет той гармонии чисел, которой поклонялся грек Пифагор, в которую так верят иудеи. Тридцать и триста звучит гораздо слаженней. Две центурии самок, добродетельных, целомудренных, разнузданных, распутных – он уже уложил. Вдруг, подлинный мастер древнейшего единоборства, успел бы уложить и третью?

Вошла Кальпурния, и Цезарь устыдился своих игривых мыслей. Лицо жены опухло от слез, она искренне горевала – холодная матрона... бедная детка... бедная бездетная детка... Только первая его жена родила ему дочь, которую он вынужден был швырнуть на ложе этого

ничтожества, Помпея. А вторая и третья жены – бездетны... А Клеопатра родила сына... Как все причудливо, боги!

– Гай, – дрожащим голосом заговорила Кальпурния, всегда такая невозмутимая, хорошо усвоившая, что жена полубога любима полубогом только до тех пор, пока попадаетея ему на глаза как можно реже. – Гай, такой сон не может не быть вещим! Рушился наш дом, и из мраморной статуи Юпитера хлестала кровь.

– Это означает только то, милая, что боги готовы отдать за мою победу свою животворящую кровь. А дом рушился оттого, что давно стал нам тесен. Скоро мы выстроим другой, достойный нас, посреди моих садов.

– Но мы совершили жертвоприношение, и у вскрытого животного не оказалось сердца!

– Этого не может быть! Совсем не оказалось?

– Совсем, Гай, ни малейшего намека.

– Так и это доброе предзнаменование! Животное без сердца менее уязвимо, стало быть, и я в безопасности более чем когда-либо.

... Нашелся, выкрутился, однако собственное сердце выскочило из груди, так что жрецы, рассеки ее сейчас, гоже заголосили бы о чуде. Ну, Бальб, это же надо так постараться!

– Гай, это все отговорки, чтобы меня успокоить! Остайся дома, умоляю!

– Кальпурния, ты же знаешь, что после смерти дочери никого роднее тебя у меня нет. Разве пошел бы я в сенат, зная, что это по-настоящему опасно, что ты будешь волноваться? Я пробуду там недолго, вернусь до вечерней зари и проведу с тобой, только с тобой три дня и три ночи. Мы будем гулять, ужинать вдвоем, любить друг друга... Такого в нашей с тобой жизни еще не бывало, не правда ли?

Он гладил ее волосы, приговаривал милые необязательности, утешал или прощался, на всякий случай... и, как всегда, удивлялся, что Кальпурния столько лет влюбленно терпит его долгие походы, его похождения, демонстративный приезд в Рим Клеопатры с сыном, названным так красноречиво – Цезарионом; и пышную встречу, которую устроил им Цезарь, и бесчисленные ночи, которые он провел с Клеопатрой – всего в полусотне стадий от собственного дома, куда часто не возвращался даже по утрам.

Неужели жена так беззаветно его любит? Или, поклонница стихов покойного Катуллы, повторяет вслед за ним: «... ненавижу и все же люблю!»?

Катулл писал это развратной неврастеничке Клодии, помыкавшей поэтом, но готовой по первому едва слышному зову прибежать на ложе к нему, Цезарю. Он и подзывал ее изредка: когда во время очередной охоты за выборной должностью стервенел, покупая голоса ненасытного плебса – и ему необходимо было разрядиться грубым наскоком на столь же ненасытное тело аристократичной гетеры. И каждый раз после короткой случки недоумевал: «Что тут любить? А что ненавидеть? Ну, уж, в конце концов, любишь – владей; ненавидишь – убей!»

Но, может быть, страстный слабак Катулл, да и его собственная многотерпеливая жена, знают что-то такое, что ему знать не дано?

Жаль, он не успел задать Катулле ноющий, как давние раны, вопрос: «Над чем смеются боги?»

– Децим, а ведь ты... – вскричал Цезарь и сделал паузу, чтобы подчиненный домыслил: «... ведь ты в числе заговорщиков!» Похоже, тот именно так и домыслил, стал совсем уж неприлично бледен и потлив; рука его потянулась к мечу. Скорее всего, решил, раз все раскрылось, покончить с собой прямо здесь, на глазах у диктатора. В более спокойной обстановке стоило бы полюбоваться, как протыкает себе грудь незадачливый заговорщик, но сейчас это было явно лишним.

– ... Я хочу сказать, Децим, что ты стал выглядеть гораздо лучше. Вино и жаровня сотворили чудо. Кстати, еще одно чудо: Бальб впервые в жизни собрал неверные сведения, ника-

ким заговором и не пахнет. Иду в сенат; ты был прав – пропустить заседание и через три дня выступить на Парфию... выглядит как обидный для сенаторов и не присущий мне экспромт. Так что поспеши, сообщи, я скоро буду.

Сказано ровно то, что должно. Децим Брут передаст Марку, что Цезарь не верит в заговор, отмахивается от предсказаний, но через три дня покидает Рим. Самое время напасть!

Пошатываясь от пережитого, Децим вышел, а диктатор неторопливо собрал воцеленные дощечки для записей, с которыми никогда не расставался, выбрал самый длинный и острый грифель – в умелых руках тоже орудие! – и оглядел зал, пытаясь сосредоточиться.

Но взгляд ни на чем не задерживался: ни на старых этрусских вазах, ни на клетке, в которой дремали вывезенные из лесов Галлии соловьи; ни на чашах, нетерпеливо зовущих струи терпкого вина. Мозг словно накрывало теплое одеяло – и так всегда бывало в последнюю минуту перед драчкой, в самую последнюю минуту тишины. Когда расплывался рельеф поля битвы, лишались четких контуров ряды войск – все это плавало в тумане, даже если освещалось жгущим солнцем.

Это потом зрение обретало удесятеренную остроту, мозг тасовал тысячи деталей и выдавал единственные решения: куда ударить кавалерии, когда вводить резерв, в какое место кинуться самому – и рубиться до умопомрачения, подхлестывая дрогнувшие когорты.

Но в ту последнюю минуту тишины всегда виделось одно и то же – покои Никомеда, его пухлые, алые губы, выплывшие: «Ты – или солдат или слабак»: то самое «или-или», что швыряло потом Цезаря с одной тяжелой войны на следующую, еще более тяжелую: с одной проткнувшей небо вершины – на другую, еще более дерзновенную.

Перед вечерней зарей мартовских ид пятьдесят шестого года своей жизни, покачиваясь в носилках на пути в курию Помпея Великого, где проходили заседания сената, диктатор пытался припомнить те часы – да что там часы! – хотя бы мельчайшие доли их, когда его исчерпанное шрамами тело томилось бы так же нетерпеливо, как сейчас. Пытался припомнить – и не мог, а значит, к оружию! Даже если оружие – только грифель, а из всех его легионов – только собственное тело.

И он быстро провел «смотри» своего малого войска.

«Ноги?»

И подрагиванием железных икр те ответили: «Готовы! Готовы сплясать последний, быть может, танец».

«Торс?»

И теплотой, разлившейся по спине и груди, тот ответил: «Готов! Готов быть увертливым, как ящерица».

«Руки? Вам в бой – последним, как любимому десятому легиону, сборищу самых бесшабашных ветеранов, распевующих похабные песенки о бравом вояке, лысом развратнике, обожаемом везунчике Цезаре».

И мгновенным натяжением свободных от жира, выносливых мышц те ответили: «Готовы! Мы рубимся, как десятый – неудержимо».

...Перед вечерней зарей мартовских ид пятьдесят шестого года своей жизни, немного неуклюже – ведь латы под чересчур просторной тогой должны стеснять движения, не правда ли, Брут? – вылез из носилок и направился к помпезному входу в курию Помпея Великого суровый диктатор, лысый развратник, неизменный везунчик Цезарь. Направился на самую славную свою драчку – один против двадцати трех.

Перед входом в курию толпились просители, зеваки-горожане и зеваки-провинциалы, совсем недавно, в результате цезаревых реформ, получившие римское гражданство. Даже просто слова: «диктатор», «сенат» – были им еще в новинку, а уж возможность лицезреть легендарного диктатора на площади сената была сравнима с еще одной печатью на документе,

подтверждающем обретение гордого звания «римлянин». Приветствовали они Цезаря горячо и бескорыстно – и «Аве, Цезарь!» звучало громко и слаженно.

Просители кинулись к диктатору, но, к немалому его удивлению, всех опередил Артемидор, грек, знаменитый ритор и эстет, приглашенный Цезарем в Рим дать Октавиану несколько уроков красноречия.

Грек протянул диктатору свиток и прошептал:

– Прочти немедленно, Цезарь, и возвращайся домой!

Цезарь развернул пергамент, прочитал первую фразу: «Держись подальше от Марка Брута, Кассия и Каски...» и едва удержался, чтоб не вскрикнуть: «Спасибо, но как это некстати!» Однако в этот момент его окружили просящие и страждущие; он с утешительными: «Рассмотрю внимательно!», «Постараюсь помочь!» передавал прошения секретарям, затесав среди прочих свитков и свиток Артемидора.

А голову лихорадил вопрос: откуда грек знает? Неужели эти ничтожества не умеют скрывать даже те замыслы, что им же и самим грозят смертью?!. И туда же, рвутся решать судьбы Римского мира, почти тридцати миллионов человек!.. Наверняка красовались перед заезжим ритором, в их глазах – апологетом великой эллинской демократии; наверняка рассуждали об идеалах Республики, о ненависти к тирании; о том, что убийство Цезаря, их благодетеля – вовсе не предательство, но славный подвиг во имя свободы.

И более всех, конечно же, распинался фразер Брут – торгош, ростовщик, вороватый сборщик налогов. Доносчик.

Но какая им всем оплеуха – «апологет великой эллинской демократии» предупреждает «тирана»; и именно о готовящемся предательстве, а не о грядущем «подвиге во имя свободы»!

И незачем было так долго колебаться: покончить с этой шайкой сразу или бороться долго и изобретательно. Только сразу! Одним махом!

...В портале курии Требоний что-то говорил Марку Антонию. Гигант Марк подал знак, что все знает и Требоний ведет рассказ последний раз в жизни.

А неподалеку от них стоял сумрачный гаруспик Спуринн – тот самый, предсказавший Цезарю большую беду в день мартовских ид.

– Привет тебе, Спуринн, великий прорицатель! – весело крикнул диктатор. – Заметь, что мартовские иды пришли, а я невредим.

– Пришли, но не прошли! – мрачно ответил жрец.

...«Пришли, но не прошли...» Хорошо сказано. Ладная фраза. Наверняка станет расхожей.

Цезарь так старался идти медленно, чуть ли не путаясь в чересчур просторной тоге, чуть ли не сгибаясь под тяжестью доспехов – что на ступеньках курии и вправду споткнулся.

– Это плохая примета, император! Вернись!

Голос Артемидора. Надо как-то откликнуться.

И Цезарь, обернувшись, сказал звучно, перекрывая тревожный гул толпы:

– Для правителя есть только одна плохая примета – потеря доверия сограждан!

Тоже неплохо сказано; оцени, друг Артемидор! Завидуй, недруг Цицерон!

Провожаемый восторженными кликами «Аве, Цезарь!», пожизненный диктатор, пожизненный император, Великий понтифик вошел в зал заседаний и вскинул над плечом вытянутую правую руку.

И все сенаторы, поднявшись, повторили приветствие, но небольшая их часть вытянула вперед и вверх не напряженно-копьевидные кисти, а сжатые кулаки.

Показывая, что готовы.

Показывая, что не только неутомимые ноги, гибкий Торс и разящие руки Цезаря – но и они тоже часть войска, готового вознести везунчика на самую высокую его вершину.

Как и было задумано, к диктатору подскочил сенатор Лена с россыпью просьб: помочь ему самому, его сыну, племяннику, зятю, приятелю зятя... деньги, должности, деньги... Запомнить это было невозможно, проще выдать жуликоватому толстяку миллион-два сестерциев и насытить до следующих ид. Скорее все же два, а не один, потому как уж очень артистично сенатор взглядывал на стоящую неподалеку группу из двадцати трех; уж очень натурально устремлял потную от жадности ладошку в сторону многозначительно надутых тираноборческих рож. От этого рожи становились еще многозначительнее и обменивались гримасами, долженствующими означать: «Все раскрыто! Все пропало! Осталось только умереть красиво, здесь же, бросившись грудью на заготовленные для диктатора мечи».

Но погодите немного, славные сыны Рима, умерьте суицидальные порывы, диктатор поможет вам умереть чуть позже, но некрасиво. Уж так некрасиво, что заседания сената в курии Помпея проводиться больше не будут – слишком свежа будет память о том, как умирали двадцать три славных сына Рима, барахтаясь в собственной крови, моче и кале.

– Нет, нет, сенатор, я никогда не смогу в это поверить! Ведь все они – достойнейшие, клянусь богами, люди! – громко, чтобы услышали, воскликнул, наконец, Цезарь и, отстранив Лену, направился к своему креслу, сделанному по настоянию подобострастного сената из чистого золота.

«Достойнейшие люди» разом облегченно выдохнули – так, что по курии даже пронесся легкий ветерок, пристроились за диктатором изготавившимся эскортом, а Луций Киллий Кимвр затараторил о страдающем ревматизмом, подагрой, депрессией и поносами, сосланном брате.

Так дошли до кресла. Цезарь уселся, Кимвр и большая группа заговорщиков остались перед ним, а несколько человек расположились за креслом. Сбоку, поближе к нему, Гай Сервилий Каска. С другой стороны – его брат, Публий.

Кимвр все расписывал мучения несчастного изгнанника, приближался к диктатору – и встал, наконец, так, что живот его оказался на расстоянии доброго пинка.

Цезарь захотел еще немного выждать, однако понял, что это желание – не что иное, как нерешительность.

А поняв, рассердился на себя.

А рассердившись, сказал резко:

– Кимвр, я никогда не просил снисхождения для себя, так зачем мне быть снисходительным к таким, как твой брат?! Ступай на место, пора начинать заседание!

И тут Кимвр вцепился в край тоги диктатора и сильно потянул. «Обнажает шею! – понял Цезарь. – Все, как я предвидел...»

И вскричал:

– Это уже насилие!

Движенье слева... Каска!.. Началось... Отпрянуть... Отлично... Кинжал лишь царапнул шею.

– Каска, негодяй, что ты делаешь?!

Проклятье! На мгновение запоздал с рывком в противоположную сторону. И кинжал Публия Каски ударил над правой ключицей. Глубоко. Проворонил. Собраться. И!..

В невероятном сочленении разнонаправленных движений:

Выпад грифелем. Попал: Публий Каска вскрикнул и отпрянул.

Пинок в живот Кимвра. Попал: тот охнул и сломался надвое.

Торс! Есть! Мышцы застонали.

Но! в воздухе; высвободил обе руки: и!

И встал в двух шагах от кресла! А те, кто стоял сзади, были вынуждены потратить секунды, чтобы, толкаясь, обежать массивное сооружение. Благие секунды безопасности сзади! Вперед! Выпад. Попал. Еще. Попал. Отступили. Слабаки! Взяли в круг. Выставили перед собой

мечи и кинжалы. Звать своих? Нет. Еще чуть-чуть. Вертеться. «Ноги, не подведите!» – «Пляшем! Никогда еще так не плясали!» Вертеться. Держать на дистанции. Грифелем в вытянутой руке. Взглядом. Голосом.

– Мерзавцы! Я возвеличил вас, предатели! Неблагодарные твари!

Ага! Замерли! Слабаки, ничтожества. Сукины дети. Пусть даже. Одна из сук. Понесла от него же.

А вот и он! Марк Брут! Смотри в глаза. Сынок. Щенок.

И во взгляде его Цезарь увидел мольбу: «Не хочу убивать! Позови на помощь!»

И готовность – если позовет – разметать всех. И защитить. И оградить...

А потомлизать его раны дрожащим от счастья, мокрым, теплым языком.

Теплая кровь бежит из раны. Слабею. Позвать на помощь, но не этого щенка. Своих. Преданных. Они готовы. Ждут команды.

И, не отрывая взгляд от смятенных глаз Брута, набрав в грудь воздуха столько, что показалось – пережалась рана, и кровь перестала бежать, Цезарь закричал...

Но не «К оружию!», как намеревался – а совсем другое:

– И ты, Брут?! – Потом с издевкой. Еще громче. Словно была нужда переорать рев кошмарной драчки. – Д-и-и-т-я мое!

Ударил. В пах. В пах?! Патриций – патриция, которого считает отцом? Смешно... Слабо ударил – меч проник неглубоко, но ноги дрогнули. Держаться. Слабо ударил. Слабо. Слабак. Смешно... Почему смешно?! Ведь не время! О, боги, боги, не надо сейчас хохотать. Пожалуй-ста!

Но, хохот в ушах стал громким невыносимо, в глазах потемнело... Упал.

И последним усилием оттянул тогу до пят, чтобы не видны были судорожно пляшущие ноги.

И за-предельным, за-последним усилием накрыл лицо, чтобы невидимо для всех успеть – пока не истечет кровью – всласть посмеяться вместе с богами.

Но над чем? Боги, над чем?..

Толпились вокруг лежащего диктатора. Мешали друг другу. Ранили друг друга.

Наносили удар за ударом – и тело отвечало судорогами, почти не слабеющими.

Наконец, прекратилось. Отметился каждый.

Остальные сенаторы разбежались. И преданные, так и не дождавшись команды — тоже. И Марк Антоний. И Балъб.

Убегая, силились понять: как может быть, что Цезарь, победоносный Цезарь — вдруг застыл окровавленной кучей на полу курии Помпея Великого, у ног статуи Помпея Великого?

Которого громил так волшебнo легко.

Словно издеваясь над вполне заслуженным титулом «Великий».

Словно утверждая, что нет в подлунни ничего подлинно великого.

Кроме разве что него самого — лысого развратника, неизменного везунчика...

А Яхве сделал сильнейший ход. И вскрыл вертикаль «с». И получил позиционный перевес.

Потому что на вопрос: «Пойдет ли Цезарь в сенат?»

Он ответил:

– Да.

А я возразил:

– Нет.

Глава 3

Эндшпиль. 2003 год. Июль

И присмирел наш род суровый.

И я родился — мещанин.

А. Пушкин

Созидающий баинню сорвется,

Будет страшен стремительный лет.

И на дне мирового колодца

Он безумье свое проклянет...

Н. Гумилев

Называя его исключительно на «вы» и «милорд», не забывая время от времени выказывать полную покорность, она конструировала их общую жизнь с ухватками опытного проектировщика.

Изъяснялась при этом кратко, щеголяя неожиданной для современной журналистики ладностью фраз. Например:

– Сущностное отличие любовницы от жены проявляется в невозможности претендовать на выходные и праздники. Поскольку я – возлюбленная, то есть любимее любовницы, то забираю именно субботу и воскресенье. Но пока еще не жена, поэтому будни проводим врозь.

В ответ на подобную афористичность он ехидно интересовался, не готовит ли она себя, часом, в большие русские писатели? Машка, ехидства словно и не замечая, неизменно отвечала, что да, безусловно готовит; более того, обязательно станет. И не просто большим, а больше Маканина и Пелевина. Остальных пишущих в расчет не принимает.

Один раз не удержался и поехидничал сверх обычного: не ошибочно ли она планировала начать тернистый путь писателя с перемещения в постель пожилого викинга?

На что получил ответ, чеканный, как постановления Конституционного суда:

– Нет, не ошибочно. Писать настоящим вкусным русским языком можно лишь вдали от словесного поноса наших улиц и тусовок. Лучший пример тому – Набоков. Да и Бунин стал писать неподдельно хорошо только во Франции. Впрочем, я рада буду начать путь писателя в постели пожилого русского милорда.

Крыть было нечем. Машке присуще было такое чарующее отсутствие рефлексий и колебаний, что Бруткевич готов был радостно плыть в хрупкой лодчонке то ли к Северному полюсу, то ли к Южному – лишь бы в кильватере этого ледокола.

А еще крыть было нечем, потому что, всего через пару месяцев после встречи в санатории, пять будних дней стали периодически возобновляемым сроком до дембеля, сроком до «откидывания» с зоны, приступами задыхания и ухода жизненных сил.

Понедельник. Из памяти, как киношные кадры, выскакивает: что сказала, как улыбнулась, как потянулась утром, как дышала ночью...

Вторник. Неожиданно цепкая память тела выбрасывает галлюцинации о прикосновениях, поцелуях, ласках, бешенстве в преддверии освобождения, небывалом покое после него...

Среда. Просто угасание, просто тихая тоска...

Четверг. Днем тоска лютует, как штормящее море; вечером – накрывающие валы, крен, потеря устойчивости, единственная надежда на телефонную трубку, и в нее, как «SOS»: «Машка, я соскучился!». А из нее, как малюсенький шанс на спасение: «Терпите. Я тоже».

А в блаженное пятничное утро – затишье. Ни шторма, ни воспоминаний о нем. Сразу к трубке, обсудить: что будем есть (три завтрака, три обеда, три ужина), что закупить, куда пойдем, что посмотрим по видику.

Днем в пятницу решения скорострельны – и все «в яблочко». Дела вершатся стремительно, денежные потоки бурлят и в приходе, и в расходе, «Недогонежпроект» берет очередную высоту.

А вечером, вот она, двухкомнатная квартира, вылизанная так, что заметишь ненароком пылинку – и поразишься, словно встретил марсианина. Вот они: его шорты и майка, чистенькие и домашние до слез; рубашка на завтра, разглаженная, как лицо кинозвезды после первой подтяжки; субботние легкие брюки (о «стрелку» можно порезаться); субботние, чуть легкомысленные носки; летние туфли отполированы так, что отражают его собственную довольную физиономию. Никакого, разумеется, галстука: в субботу рабочий день – до двух, и форма одежды – партикулярная.

Короткий поцелуй и опять – напоследок, ненадолго – врозь: она на кухню, он в детскую. «Мунечка, привет! Как дела?» – «Здравствуйте, Георгий Георгиевич! Спасибо, все хорошо». – «Есть ли плодотворные дебютные идеи?» – «Есть кое-что».

Треп – необязательный, светский, дружелюбный – прерывается счастливым:

– Ребята, моем руки! Ужинать!

Разумеется, ужинать. Не целоваться же, задыхаясь, у входной двери, бормоча сакраментальное: «Господи, наконец-то!» Чай, не семнадцать лет. Безусловно и непременно – ужинать.

Но в ту первую секунду, когда к нему, вытянувшемуся на щекочуще-колючих после стирки простынях, прижмется ее тело покорной, истомившейся наложницы, хриплым рыком вырвется все то же сакраментальное:

– Господи, наконец-то!

А еще решили (опять же в стиле каравана «ледокол-лодчонка») рассказать друг другу о себе. Ничего важного не опускать: все, даже то, о чем хотелось бы забыть, припомнить.

– Первым – вы. Начинайте с того момента, как уехала...

– Сбежала.

– ...Улетела ваша бывшая жена. Потому что все предыдущее, вплоть до последнего поцелуя в аэропорту, принадлежит ей. И только тогда станет моим, когда вы поймете, что меня любите сильнее.

– А ты от каких «сих» до каких «сих» расскажешь?

– Все расскажу. Ни один мой день никому другому не принадлежит, потому что я ни одного дня никого не любила.

– Даже отца Муньки?

– Милорд, это, наверное, не совсем по-женски, но вам я говорю и буду говорить одну только правду: в моей жизни все – ваше... Начинайте с того момента, когда вы вернулись из Шереметьево, прикупив по дороге бутылку водки – а в доме не оказалось никакой еды, кроме подгоревшего гуся¹.

– Откуда ты знаешь?

– Вы как-то обмолвились, что Зоя на прощанье сделала последнюю попытку изжарить вам гуся, но он обуглился сильнее всех предыдущих. А без водки такие вечера никогда не обходятся.

...Она ошиблась только в одном. Пара бутылок хорошей водки всегда была у него в багажнике. Любой «бомбила» знает, что в ночь, когда фатально не везет, надо хряпнуть. И минут через десять тебя обязательно тормознет пьяная парочка, рвущаяся к черту на кулички, в другой конец Москвы, и джентльмен ухарски выложит сто баксов, лишь бы поскорее дорваться до случайно подвернувшегося тела. А уж дальше, как пойдет: либо они

дотерпят до Бирюлево или Химок, либо не дотерпят, предложат свернуть в какой-нибудь сонный двор и покурить на скамеечке у песочницы. Джентльмену это будет стоить еще сто баксов, а ему, Бруткевичу, долгого брезгливого отмывания салона.

Сидя у песочницы, он будет искать ответ на один и тот же бессмысленный вопрос: стал бы гулена-улан Георгий Бруткевич защищать Россию на Бородинском поле, если бы знал, что она заставит одного из его потомков зарабатывать на кусок хлеба таким вот способом.

- А вы сами это России простили?
- Нет. Впрочем, не знаю. Просто старался не вспоминать.
- Понятно... А улан действительно был гуленой?
- Еще каким!

Бытовала семейная легенда, что полковник Бруткевич схлестнулся как-то раз с Бурцевым – гусаром и бретером, воспетым Денисом Давыдовым в восторженных, даже несколько подобоострастных стихах. Схлестнулся по поводу наипустейшему, и секунданты здраво рассудили, что дуэль из-за подобной безделицы будет расценена как обострение вражды между гусарами и уланами. Конечно, легкая вражда была, что уж греха таить! Но единомыслия было все же больше, поскольку объединяло категорическое неприятие кавалергардов («Шаркуны паркетные!») и дружное презрение к драгунам («Грубы, как золотари!»). Итак, драться назначено было на дуэли бескровной, существовавшей в двух вариантах: «стреляться вдоль пики» и «стреляться вдоль сабли». Но «вдоль сабли» стрелялись обычно молодые подпоручики, коим поллюции еще заменяли полнокровное соитие, а дуэлянтам в столь солидных чинах, полковнику и ротмистру, стреляться пристало исключительно «вдоль пики». Дуэль проистекала так: вдоль сторон лежащего на столе древка уланской пики тесно, одна за одной, выставлялись добрые чарки водки и затем шло чередование: «как бы выстрел» – чарка; «как бы ответный выстрел» – ответная чарка².

Естественно, никаких тостов, закусонов и перерывов – промежутки между «выстрелами» крохотные, сравнимые со временем прицеливания...

Стало быть, сошлись. По хлопку секунданта начали. И вскоре поняли, что к дуэли подошли легковесно, не в лучших своих кондициях; что не совсем оправались после недавних подпитий и стреляться сегодня следовало все же «вдоль сабли». Но гусары (уланы) не сдаются. Из последних сил борясь с дурнотой, добрались-таки до конца древка. Оставалось последнее испытание: встать в полный рост, отдать честь сопернику (пусть даже валяющемуся бездыханно) и простоять так на «раз-два-три».

Представить это себе трудно, но ведь вытянулись оба во фронт! И молодецки вытянулись, как на плацу перед государем! И честь отдали, и, не жмурясь, ели друг друга глазами так вызывающе, что не услышали спасительного «три». Это строжайше вертикальное стояние, эта смертная их окаменелость могли бы длиться вечно, не объяви, наконец, секундант:

- Дуэль вышла славной! Закончилась вничью. Обнимитесь, господа!

Сделали парадный шаг друг к другу и обнялись. А вот это было ошибкой...

На мгновение почувствовав в сопернике надежную опору, оба чуть ослабили предельную концентрацию воли, почти сразу же спохватились, но было поздно – расцепи они клинч, сразу рухнули бы плашмя, навсегда опозорив родовое имя и русскую кавалерию.

Выход был один: соперника не отпускать и стоять насмерть. Насмерть, но не молча, ибо сколь-нибудь долгое молчание сплетнявая молва непременно истолковала бы как-то компрометирующе, например, как внезапный провал в мертвецкий сон.

Поэтому заговорили.

- Что это вы, полковник, – осведомился Бурцев, – тискать меня затеяли-с? Чай, не баба...
- Не тискаю, а обнимаю, – отвечивал предок Бруткевич. – Из братских чув-с-с-тв к храбрецам-гусарам. А за намек ваш требую с-с-атис-с... вызываю! Подать пис-с-с-толеты!

Несмотря на стихийно возникавшие затруднения со звуком «с», предок был убедителен и грозен. Но плевать Бурцев хотел на его вызов! Слушать и слышать он уже не мог. Хватало его лишь на то, чтобы обнимать, стоять и слов из песни не выкидывать.

– Что это вы, полковник, – еще саркастичнее осведомился он, – тискать меня затеяли-с? Чай, не баба...

И тот же ответ Бруткевича... и вновь Бурцев – про «не бабу»... и возвращались они на круги своя все с большей экспрессией, пока наконец изнемогающие от хохота секунденты не развели их. Точнее, не разнесли по каретам.

И долго еще потом на офицерских пирушках, стоило какому-нибудь юнцу, повествуящему о своих амурных викториях, ляпнуть неосторожно что-то вроде: «...и тут, господа, слились мы с нею в объятиях!» – как тут же вступал хор цинических голосов: «Как Бурцев с Бруткевичем!»

А вскоре в очередной раз сработал договор, который Георгий с Создателем заключили еще в давние 80-е годы. Когда Георгий был уже смиренен, как крестьянка, безотказно рожающая раз двенадцать в расчете на выживание хотя б двоих – и то, коли повезет.

Потому и договор был ни на что не претендующим. Просто однажды, морозной зимой, подвыпивший Георгий решил оформить сносность своего существования юридически, для чего крикнул неуместно праздничному, сверкающему звездному небу: «Господи, я не буду напрягать тебя просьбами – мне ничего не надо: ни славы, ни карьеры, ни больших денег. Я никогда не буду выпендриваться, но и ТЫ уж, будь добр, пайку мою не зажимай!» И потемнело ясное небо, и повалили с него щедрые хлопья, и понял Георгий, что Бог договор о намерениях подписал.

А Зоя, жена его, в молодости затираемая из-за необычной своей внешности и нелегкого характера, стала востребована и даже пару раз сыграла в голливудских комедиях русских шпионок. Тамошние режиссеры чувствовали, что не первой свежести актриса добавляет в их варево какую-то мистическую горчинку, а тамошние критики дружно заговорили о странном русском способе смеяться «сквозь невидимые миру слезы».

На упрек Зои, что ему никогда не были дороги ни она, ни сын, Бруткевич отвечал беспомощно, но искренне: «Ты же знаешь, что это не так. Я боюсь гнева небес, боюсь навлечь его и на вас тоже. Поэтому и остаюсь...» И верил, взаправду верил, будто бы никак нельзя допустить, чтобы отблеск грядущей жениной славы упал и на него, поклявшегося никогда не высываться.

Растолковывая это Машке, в очередной раз понимая, как нелепо все звучит, не удержался:

– Скажи честно, кем я тебе кажусь? Идиотом? Юродивым? Трусом?

– Милордом по рождению и воспитанию. У вас такие смешные заскоки аристократа... вы умеете проигрывать так достойно, так скромно, что вашего участия в скачках многие вообще не замечают.

Во исполнение договора Создателя с Бруткевичем ему однажды позвонил бывший коллега, веселый прохиндей, ставший – и откуда что берется? – популярным имиджмейкером. Он предложил потусоваться в выборном штабе «одного хмыря», пообтереться, посмотреть, как эти дела делаются. А там – кто его знает? – вдруг пригодится. Георгий не стал цепляться за былой пиетет перед народным волеизъявлением. Он потусовался, пообтерся, присмотрелся – и ему понравилось. Подкупал тот веселый цинизм, с коим кудесники урны нае... ли избирателей и кандидатов, левых и правых, правых и виноватых. Выяснилось вдруг, что изобретательность Георгия в рекламировании никуда не годного товара неистощима и безгранична. Он научился воспевать кандидатов так виртуозно, что они, изначально формулируя цели своего похода за мандатом вполне по-деловому, потом искренне упивались мифотворчеством

Бруткевича, «открывавшего» в них бездны ума и Эльбрусы совести. И если побеждали, то это была не иначе как победа сил Света (за что мастеровитый Бруткевич щедро вознаграждался); если же случалось проигрывать, то это воспринималось лишь как временная уступка силам Тьмы, а Бруткевича утешали суммой немалой, дабы запомнил широту натуры и не преминул на следующих выборах прыгнуть под те же знамена.

И все шло хорошо, и «зеленый» ручеек не иссякал, и нешумная слава шла за свежвыпеченным политтехнологом по пятам...

В конце 2000 года Георгий получил прельстительный заказ. Ему предложили разработать стратегию улучшения имиджа «крупного российского капитала», и он, решив полностью раскрепоститься, выдал аналитическую записку, которая долго потом ходила по Москве, почему-то в качестве примера инквизиторского кремлевского юмора.

Машка ее в те времена тоже прочитала, и теперь, узнав об авторстве Бруткевича, с удовольствием пересказывала содержание близко к замыслу и тексту.

– Вы писали, ехидный милорд, что олигархов всегда будут считать гоп-стопниками, раздевшими подвыпившую Россию догола, а их меценатство и благотворительность будут расценивать как жетон на метро, оставленный несчастной голой бабе из веселого цинизма.

Вы писали, зловерный милорд, что есть единственный выход: навсегда вытравить из народного сознания слово «олигарх», с его недобро рычащим «р», и с этим финальным «х», так явно напоминающим о знаменитом трехбуквенном сочетании.

Вы писали, коварный милорд, что необходимо переименовать инфернальных злодеев-олигархов сначала в «тузов», финансовых, промышленных, аграрных, затем в уменьшительных «тузиков» с малой буквы «т», и, наконец, в уничижительных «Тузиков», но с большой.

– Что резко снизит градус общественной неприязни, – подхватил Бруткевич, – поскольку Тузик всего лишь жуликоватая лохматая дворянка. Бесспорно, вороватая: только отвернешься, сразу слямзит что-нибудь со стола, но это уж дело власти – не отворачиваться. На Тузиков не злятся, сердобольная повариха-Россия не оставит их голодными, хотя о самых вкусных мозговых косточках, может быть, придется забыть.

– Вам заплатили?

– Да, но не в этом суть.

– Мой замечательный лорд, суть, если она вообще имеется – либо в любви, либо в смерти, либо в «бабках». И ваши поиски какой-то иной сути я не понимаю.

Если бы он сам их понимал! Если бы сам понимал, как из вылившегося из него и неплохо оплаченного бреда выросло вдруг ощущение безнадежного сиротства: привязчивая мысль, что он, Георгий Георгиевич Бруткевич, навсегда выпал из народа, из страны, из мира. Не отторгнут ими, не оторвался от них, устремившись в вышние сферы, не сбежал отшельничать в таежных скитах, а именно выпал, как случайная крохотная деталь, никаким замыслом не предусмотренная, как за пределами испошлившийся шоумен, изгнанный предельно пошлой компании собратьев по ремеслу И недаром полезла из него именно такая аналитическая записка, омерзительная, как плевок и на без того загаженный асфальт.

Итак, выпал из народа, то есть, по сути, из времени. Заодно выпал и из пространства. Во всяком случае, разворачивая мысленно карту безразмерной родины, не находил места, с которым хотелось бы сродниться. Может быть, с Прагой... или с Веной... Севильей... Иерусалимом – захотелось бы. Однако ж ни он сам, ни предки его – хоть по дворянской линии, хоть по профессорской – ни капли крови или пота за эти места не пролили. Так какое он имеет моральное право стучаться и просить признать его своим?

Да и вообще, за какие такие заслуги его можно признать? Олимпийским чемпионом не стал. Певцом не стал, хорошим геофизиком не стал. И Зоя поэтому сбежала. И сын вслед за ней.

В общем, самоедство, доходившее чуть ли не до обглаживания собственных костей. И спасала только музыка, благо сохранились записи его матери и лучших ее учеников.

– А для меня серьезная музыка – в полном минусе. Выросла-то я в поселке городского типа Светлый. В ходу были песни о партии, матерные частушки, а из классики – только похоронный марш Шопена.

– Машка, откуда в тебе столько желчи?

– Из светлого детства в Светлом. Из солнечной молодости в Москве: ночи любви по вызовам, дни учебы и саморазвития... Продолжать список источников?

– Как хочешь. Можешь даже рассказать о каждом.

– Как пастору? Как психологу? Или как судье? – и все это со злой желтизной глаз, сменившей мирную зелень новорожденной листвы. Н-да-а-а... Мало того, что рыжеволосая с зелеными глазами, почти ведьма, так еще и тяжелый сталинский взгляд. Так ведь он – не трепещущий соратник вождя, может ответно врезать:

– Нет, как любимому и любящему.

Что называется, врезал! Ласковенько, нежненько так врезал... зато и награду получил. Нет, слезы в очах ее, конечно, не блеснули, не на такую напал, – но зелень вернулась и заиграла неправдоподобно.

– Спасибо. Но сегодня рассказываете вы.

– Тогда иди ко мне поближе. Чтоб легче было откровенничать.

Она уселась на полу, прислонившись спиной к его коленям. И ничего особенного в этом не было, но что-то особенное все же было.

– Слушал я музыку, часами слушал, как играла матушка, ее ученики, и вдруг пришла мне в голову мысль неубиенная: если, живя по разумным, но чужим нормам, я ничего не достиг, то может стоит попробовать жить пусть по куцым, но своим? Уголовный кодекс, вестимо, чтить, но всему прочему воздавать, как кесарево – кесарю. Ведь вот и улан, предок мой, бражничал, волочил, бретерствовал – но на Бородинском поле победил. А такая победа искупает все: и водку, и девочек, и игру со своей и чужими жизнями.

Как сейчас помню: 19 ноября, 19 часов – и я даю себе самую последнюю клятву.

... Тут Георгию стало немного смешно: его рассказ обретал пафос принесения присяги, но все же продолжил.

– К великому сожалению, пока что моя жизнь – это череда поражений, однако закончу я победой. Настоящей, без дураков. В деле, которое другие могут называть нелепым, безумным, даже воровским – все равно; главное, чтобы я сам считал его подлинным и важным. Итак, решил я, довольно зарабатывать на фикциях типа выборов или рекламных кампаний – это немногим лучше ста баксов за то, что в твоей машине трахается пьяная парочка. Надо искать дело. Свое Бородинское поле. И не поверишь, но ровно через час позвонил Толоконин и предложил вести его кампанию. Я ответил, что поведу. Бесплатно. А потом, когда он станет губернатором, возглавлю реальный проект. И через три дня приехал в Недогонез.

Машка встала, отошла на пару шагов, очень серьезно взгляделась... И поверила в его страшную клятву. Но на всякий случай переспросила:

– Победа или смерть?

– Точно так.

– Отступать некуда, позади «Недогонезпроект»?

– Да.

– И производство навоза? Как вызов общественному мнению?

– Не навоза, а органических удобрений. Повышающих урожайность вдвое. Даже в горячих аравийских песках.

...Она кинулась к нему, успев в броске сбросить светлый невесомый халат. Повалила на спину, уперлась в его сдавшиеся в плен руки и защекотала лицо и шею набухшими темно-кремовыми сосками.

– Теперь послушайте меня. Нет, нет, не пытайтесь поймать ртом грудь. Во-первых, не поймаете, а если даже поймаете, все равно не замолчу. Да вы не стесняйтесь, возбуждайтесь! Так лучше запомните то, что я сейчас скажу. Мне плевать и на малую мою родину, и на большую. Есть крепость, раньше в ней прятались двое – Мунька и я. И могила моей матери. Теперь в крепости появились вы. Учтите, пожалуйста, что насовсем. И, чтобы она стояла целехонькая, чтобы жилось нам в ней и поживалось, я готова уничтожить вокруг что угодно и сколько угодно. Крепость, а в ней – мы трое, и даст Бог, наши будущие дети: вот моя мораль, моя победа.

– А как же Норвегия? – хрипел Бруткевич.

– Разграбим и сотрем с лица земли. Если понадобится. А не понадобится... хрен с ней, пусть живет. Но вы не отвлекайтесь... у вас уже глаза мутнеют. И это потрясающе хорошо, это замечательно, милорд! Пока вы так меня желаете, вам ничего не угрожает. Ни поражения, ни смерть. Вы уже победили.

Было, что возразить. Но зачем?

Позвонила Мунька. Сообщила, ликуя, что выиграла кубок Центрального округа и выполнила норму мастера спорта.

Машка вскочила, натянула халат.

– Кто куда, а я – на кухню. Вечером пируем. Да, надо бы тренера пригласить. Очень приятный мужичок; к Муньке относится трепетно, а обо мне мечтает, как странствующий рыцарь. Ну, поворачивайте глазами, покажите, какой вы ревнивый, какой венецианский, какой мавр... Милорд, я научусь понимать классику. И даже, черт с ней, полюблю. Я вообще полюблю все, что любите вы. Даже вашу бывшую, Зою.

– Машка, мы близки уже полтора месяца. Перестань «выкать».

– Не перестану. К хозяину на «ты» не обращаются.

– Тогда хоть не «милорд»! А то я себя чувствую флегматичной псиной-боксером. Скоро начну проверять, не повисла ли слюна.

– А что другое предпочитаете? «Барин»? «Мой господин»? Все не то. О! Придумала! Будете вы у меня «Масса»... Масса Джордж³. Тем более физическая масса у вас – что надо; недавно имела удовольствие еще раз в этом убедиться. И выросла я в почти что хижине дяди Тома!

И, изображая, будто рыхлит тяжелой мотыгой землю, политую потом и слезами черных рабов, запричитала:

– Я стараюсь, масса Джордж, не продавайте меня, пожалуйста! Я выращу для вас офигенный урожай. Хлопка, маиса, риса, редиса – чего угодно! Как здорово вы придумали удобрять почву ароматным навозом из России! Вы такой умный и такой красивый хозяин. Я буду стараться еще больше, масса Джордж. Вы ведь меня не продадите? Я готова стараться сутками: днем на плантации, а ночью везде, где вам будет угодно меня завалить. И больше никаких «милордов»! Долой Великую хартию вольностей!

И завертелась дразня смуглотой ног в распах светлого халата. А в дверях возгласила:

– Да здравствует счастливое рабство!

Еще через неделю.

– Так почему все же, масса, переработка навоза? Как потомку лихого улана, сыну рафинированной пианистки, могло такое прийти в голову?

– Машка, я не вожусь с говном, не вычищаю авгиевы конюшни и вообще не ассенизатор! Я произвожу превосходные органические удобрения и очень успешно их продаю. Попутно обрабатываю, возрождаю заброшенные земли. Выращиваю на них хороший пивной ячмень. Собираюсь сеять озимые, делаю еще кучу толковой работы. Или ты мне по-прежнему не веришь?

– Типун вам на язык! Если я вам хоть один раз... хоть в чем-то не поверю... хуже этого может быть только потеря Муньки!

И почти против воли, в который уже раз Георгий залюбовался, как в минуты волнения лицо ее заливаet румянец, а шея и грудь становятся снежно-белыми. Она за собой это знала и смеялась, что такое сочетание фантазмагорично, как если бы во главе святого Белого движения оказался фанатичный красный комиссар. Зато не знала, что в минуты близости цвета по ней разбегаются ровно наоборот: лицо становится мертвенно бледным, а грудь и шея пламенеют. Наверное, потому, что сознание умирает, благословив раскаляющееся тело...

– Наше поколение выросло в абсолютной уверенности, что в нынешней России – в князи можно только из грязи. С помощью грязи. Посредством грязи. А в вас – какая-то трогательная до безумия (или безумная до трогательности?) вера, что можно и за счет ума, таланта, благородства... Господи, слово-то какое архаичное! Я и не знаю – восхищаться вами, или жалеть, как девственницу, которую еще ой сколько раз изнасилуют.

– Машка, родная, ведь все это только слова: «наше поколение считает так, ваше поколение – иначе». Это все Тургенев в Париже выдумывал. Он с Полиной Виардо долго не виделся, вот и кошмарил про Базарова и нигилистов.

– Скажите еще, что несварением маялся.

– И такое возможно... Есть совесть и бессовестность, честь и бесчестие, прохиндейство и порядочность. Иногда они меняют очертания, форму, одежду, расцветку... хрен их знает, что они еще меняют... но ведь сердцевина остается той же. Просто в гнусные времена черное объявляется белым и кажется, что выбора нет.

– Вы считаете нынешние времена гнусными?

– Конечно.

– А вот я, представьте, так не считаю. Нормальные времена нормального естественного отбора в нормальной воровской стране.

– Так что ж ты из нее бежать намылилась?

– Потому что воровать не могу! Торговать пером – могу. Б... вать – могу... нет, раньше могла, пока вас в санатории не встретила. Убить, если понадобится, смогу. И не только старушку-процентщицу. А вот воровать не могу. И, кстати, жутко себя за это презираю.

– Маша, опомнись!

– Милорд, масса, Георгий Георгиевич! Я вас люблю без памяти. До доньшка. Навсегда. Но честное слово, иногда я воспринимаю это как пожизненную неизлечимую болезнь, которая сделала меня инвалидом.

– Ах, так?!

– А вы думаете, что своей глупой совестью вылечиваете меня от прежней скверной жизни? Черта с два! Это была отличная жизнь, где все четко и ясно. Просто, как табуретка. Есть цель и есть пути к цели. Если найдешь путь, чтоб без трупов – выбирай его, он безопаснее. Не найдешь – иди по трупам, но не распускай сопли и не кайся... Нечего смотреть на меня с таким ужасом! Это мне впору ужасаться, потому что появились вы – и я ослабела, потеряла иммунитет.

– Ты ошибаешься. Я смотрю на тебя не с ужасом, а с отвращением!

– Прямо-таки с отвращением? Тогда дайте себе волю, врежьте свою легендарную двойку боковых!

– Не получится! Когда тошнит, хорошо врезать невозможно. А меня от тебя тошнит!

И хлопнул дверью.

А еще часа через полтора дверь ему открыла Мунька.

– Георгий Георгиевич, я разобрала очень красивое четырехладейное окончание. Хотите посмотреть?

– Мунечка, попозже. Ты извини, мы тут с мамой немного поорали...

– Ничего, орите, вы мне не мешаете. Все равно пора привыкать хорошо думать в шумном турнирном зале. Многие гроссмейстеры, анализируя позиции, специально включают на полную громкость и радио, и телевизор.

– Мунька, ты гениальный человек! И очень хороший. А где мама?

– В большой комнате. Стоит у окна.

Действительно, стояла. Наверняка видела, как он неся по улице. И как возвращался с цветами и тортом. Вроде бы за ними и убежал.

Подошел, стал рядом. Как тогда в санатории, на балконе. Только теперь руки заняты. Вообще-то желательнее торт в холодильник, а цветы – в вазу. С другой стороны, с ними надежнее. Как будто держишь индulgенцию, подписанную самим папой.

– Все, что я тебе наговорил, дели на тысячу.

– Все, что я вам наговорила, делите на две.

Стояли и смотрели вдаль. Только не на рассвет, а на московский поезд, увозивший счастливых, которые завтра утром рассыпятся по чартерам – в Турцию, в Хорватию, в Испанию. Эх, счастливы, счастливы! Не надо вам готовиться к уборочной, боронить поля под озимые, выполнять контракт на поставку удобрений в Иорданию, ломать голову, как возвращать в декабре кредиты.

Поезд уползал медленно, чуть подрагивая. Как веревочка, которую чья-то забавляющаяся рука водит перед носом наострившегося кота.

– Я не за себя боюсь. Я боюсь, что они вас раздавят.

– Кто они?

– Все. Все, кто на вашем месте воровал бы и делился. Для кого эти ваши мечты о собственном Бородинском поле – как серпом по яйцам. Для кого ваше внутреннее благородство – запах чужака.

– Машуня, я умею драться. И вообще, не каркай.

– Не буду...

Сначала над идеей Бруткевича смеялись. Потом, когда с помощью Толоконина удалось убедить банки дать крупные кредиты – без обеспечения, под проект, – стали говорить, что деньги будут разворованы сразу, бесхитростно и нагло. Но в область пошла техника, рылись траншеи – и родилась новая версия: все закупается и строится по головокружительным ценам, с сумасшедшими «откатами». Тем временем заброшенные фермы энергично очищались, а чудо-черви заработали как вечный двигатель, пожирая свозимые со всей области залежи и выделяя готовую к употреблению органику. Появились контракты на поставку в Иорданию и Кувейт – и потерявшая сон оппозиция забросала прокуратуру сигналами о продажах народного добра по заниженным ценам, но опять же с сумасшедшими «откатами».

Проверки следовали одна за другой, в офисе «Недогонежпроекта» выделили для контролеров специальную комнату, и она никогда не пустовала. Как поговаривал один из замов Георгия, бывший физик-экспериментатор, сангвиник Абрамыч: «Одна орда сменить другую / Спешит, дав отдых полчаса».

Но все это Бруткевича не волновало. «Откатов» не было, на жизнь хватало и без них – выручали заработанные когда-то на выборах деньги. А проект, с неизбежными скрипами, но шел. Однако ж свалилась на голову другая забота. Главы самых гиблых районов зачастили

к Толоконину с просьбами: а почему бы Бруткевичу, возрождателю и воскресителю, не возродить их заброшенные земли и не подкормить ревущий от хронической голодухи скот? Хотя бы для того, чтобы надежно обеспечить червей исходным сырьем? Ведь вывозимый с полуразрушенных ферм, окаменевший навоз, если по правде, говорили они, районный. Если по справедливости, толковали они, то почти полезное, почти ископаемое. И раз Бруткевич научился на нем делать деньги, то и районам должно что-то перепадать.

Георгий сопротивлялся, но твердое толокнинское «Надо!» положило дискуссиям конец.

Еще и еще кредиты, закупки техники, семян, горючего, средств защиты растений, проект разрастался, и одной только зарплаты требовалось под десять миллионов в месяц.

Черви такой денежный поток создавать не успевали, финансовые прорехи множились скорее, чем штопались, но уже на десятках тысяч гектаров рос элитный пивной ячмень и подсолнечник, и еще десятки тысяч готовились под озимые. Взлелеянная земля, пропитанная удобрениями, должна была дать славный урожай. Всего только две успешные уборочные, всего только год – и появилась бы вполне осязаемая прибыль.

В общем, как комментировал замученный наскаками правоохранителей, заметно помрачневший сангвиник Абрамыч: «Мы их просим, дайте нам время, а они отвечают: «Время дать не можем, но срок дадим – уж будьте уверены!»

И вот теперь Бруткевич мотался по области, проверяя, все ли готово к уборке. Лето складывалось паскудно дождливым, на севере области были убраны еще не все озимые, техники традиционно не хватало. Георгий раньше и не подозревал в себе такой твердости: его просили, ему угрожали, предлагали любые деньги, но ни один новехонький комбайн «Недогонежпроекта» ни на одно «чужое» поле не вышел. Все было сосредоточено в южных районах, все жило одной надеждой: ячмень, не менее трех тонн с гектара, двигаться с юга на север, сроки минимальные (двадцать дней) в любое окно между дождями. Плевать на влажность – на элеваторах высушат. Дорого? – пусть. Но в конце августа должно быть не менее сорока тысяч тонн – ста двадцати миллионов рублей. Двадцатью заткнуть самые опасные пробоины, сотней хоть чуть-чуть ослабить кредитную удавку. Потом подспеет подсолнечник – и тогда... Ах, вот тогда можно будет хоть на секундочку увидеть «небо в алмазах».

...Пятница была на исходе, машина мчалась в Недогонеж; Георгий поддался на уговоры спутников, Абрамыча и Андрея Сергеевича, главного агронома проекта, и решил провести два дня в городе; а на рассвете в понедельник – на самые «юга» области, где уборка начнется в воскресенье.

На самом-то деле Георгий и не сильно сопротивлялся уговорам. По Машке соскучился невыносимо, да и ощущать в воскресенье внезапные замирения сердца: «Как там уборка?», и видеть, как краешек этой тревоги тут же затеняет лица семейства (черт возьми, уже семейства!) – была в этом какая-то садо-мазо-сладость.

Хотя почему «садо-мазо»? Просто естественное стремление мужчины побеждать, зная, что в тылу надеются, тревожатся и любят.

Навстречу машине спешили облака, уже излившие влагу на севере. Поигрывая отблесками заката, они старались выглядеть дружелюбными, но черные пятна, пометившие их затейливую кучеватость, не предвещали ничего хорошего.

Настроение от этого портилось, но у Бруткевича сызмальства был безотказный способ обрести равновесие: поспать или хотя бы подремать. И лишь только навалилась дремота, недобрые облака сменились красками Того Самого Рассвета, только Машка не плакала, а убаюкивала и шептала, что все обойдется... Под шорох шин, под мурлыканье двигателя, под Машкин шепот разноцветно-слоистый торт рассвета выглядел особенно празднично и дремалось особенно сладко.

Но все испортило внезапно загудевшее возле уха ворчание водителя Ивана.

Хоть фамилия у него была грозно-казацкая, Есаулов, производил он впечатление не вояки, а попрошайки. Даже и сутуловатость его была трусоватой, словно ему дали чуть передохнуть между порциями ударов по шишковатой голове и костлявым плечам. Однако ж при этом он умудрялся взгляды на окружающих людишек с таким насмешливым презрением, будто еще вчера владел родовыми замками с баронским гербом на фронтонах.

– Опять вертаемся, – забубнил он, – с пустым багажником. Мяса нигде не взяли; Викулин две головы сыру хотел положить, так вы не велели. От предприятия что, убудет, если парного мяса дадут? ...забили бы теленка... Животновод наш главный всегда вертается с полным багажником. Женька, его водитель, от мяса уже распух. И кому вы свою честность доказываете?

– Заткнись! – посоветовал Бруткевич, с трудом удерживая остатки дремоты.

– Заткнись, – горестно согласился Есаулов. – Скоро мочи не будет говорить. И ноги болят. Раньше, когда начальника рыбводхоза возил, спрашивали: «Вань, тебе какой рыбки положить?»

– Жалко, спился мужик, – закончил Абрамыч не раз слышанное повествование, – и помер.

– Спился, – согласился Иван, гордясь величиим начальника рыбводхоза, как собственным баронским гербом, – помер. Но вертались всегда с полным...

– Заткнись! – рявкнул Бруткевич, окончательно вернувшись из мира, где была Машка, в мир, где есть Есаулов. Попищал кнопками мобильного и обратился к главному животноводу «Недогонежпроекта»:

– Привет, Виктор Алексеевич! Напомните, пожалуйста, первый основной принцип бизнеса... Правильно, «Не бойся больших расходов, бойся маленьких доходов». А второй?.. Подзабыли? С удовольствием напомню. «Уж если воровать, то с прибыли, а не убытков». Где же это вы у нас большую прибыль обнаружили?.. Что я имею в виду? Да вот, дошли слухи, что из поездок с парной телятиной возвращается... Только один раз? А что ж не поделились?.. Вы во второй раз половину отнесите в багажник к Ивану, и сразу ко мне в кабинет с заявлением об уходе. Договорились?.. Удачи!

– Георгий Георгиевич! – встрепенулся главный агроном. – Вон наше поле под озимые готовится. А за ним двести пятьдесят га ячменя. Посмотрим?

– Конечно! Стоп, Иван! И если еще раз услышу про заполнение багажника – в пинки погоню. Сразу и больно.

– В пинки... – ворчал Есаулов, пока пассажиры, кряхтя, разминали онемевшие ноги. – Геофизики... ну и физичили бы себе дальше, из ума сшитые. «Воровать с прибыли», – передразнил он Бруткевича, уже ушедшего от машины метров на пять. – С прибыли большое начальство уворует. А мы ее пока дождемся, с голоду померем!

И поплелся за Бруткевичем, приученный покойным рыбхозовцем держать дистанцию, но следовать по пятам.

По полю быстро, но вальяжно перемещался трактор, за которым тянулся шлейф из необычно широкой бороны и нескольких культиваторов. И у Георгия потеплело на сердце, когда он вспомнил, что трактор, белорусский аналог «Кировца», не уступающий тому в мощи и маневренности, обошелся гораздо дешевле; что борона современной, французская, тоже выторгована с приличной скидкой; что обращается она с черноземом бережно, как будто врачует его лазером, а не кромсая, как традиционный плуг, мясницким ножом.

– Что, Андрей Сергеевич, справляется наша техника? – спросил он у агронома, успевшего дойти до середины поля и вернуться.

– Отлично. Георгий Георгиевич, слов нет! И трактор хорош, а уж борона – просто чудо. Следующей весной еще бы штук двадцать таких, да еще немецких сеялок – горя знать не будем. Купим, Георгий Георгиевич?

– А купилки где взять? – вздохнул Бруткевич, однако в глубине души знал, что на уши встанет, но купит. И пусть визжат, что он, руководитель государственного предприятия, вбухивает деньги в импортную технику, главное, что земля воскресает, и что он, Бруткевич, в этом участвует.

А вот и ячмень. И хоть ни черта бывший геофизик, боксер, политтехнолог, «бомбила», несостоявшийся певец, в зерновых не смыслил, но генетической памятью русского, привыкшего умиляться всему, что, вопреки хреновой погоде и вечному бардаку, взросло и окрепло, Георгий чувствовал, как он хорош, этот крепкий ячмень. Покорно склонивший обрамленный венчиком, полный зерна колос, но при этом держащий стебель царственно прямо – он словно гордился, что да, на Бога надеялся, но и сам не оплошал.

Затрубил мобильник. Машка! Умница Машка, вещунья Машка – как чудесно угадала, в какую минуту позвонить!

– Машка, – зашептал Георгий, – ты, конечно, не помнишь, соплячка совсем, была такая картина, «Утро нашей Родины». Там Сталин в парадном мундире любит поле пшеницы. А у нас тут ячмень... и какой ячмень! Той пшенице до него, как Шарон Стоун – до тебя. А вместо генералиссимуса – я. Только бы вовремя убрать. Молись, чтоб не было дождей.

– Уже молюсь, – ответила она, и голос был невеселый. – Тут, масса, вот какое дело. Толоконин в отпуске, и оппозиция опять замахала ручонками. Добилась парламентских слушаний по поводу «Недогонежпроекта» и лично вас.

Глава 4

Миттельшпиль. 1492 год. Март

О, мы убедим их, что они тогда только и станут свободными, когда откажутся от свободы своей для нас и нам покорятся.

Ф. Достоевский

Завтра для нас может кончиться вся эта простая, обыденная жизнь. Завтра — наш момент истины.

Томас де Торквемада

Ладья Яхве встала на с3 — и тогда от отчаяния мой слон перешел на d2 и напал на нее. А уйти она могла только на сb, после чего конь черных переместился бы на e4, разменял моего слона или просто отогнал его, а затем ладья спокойно возвратилась бы обратно полноценной хозяйкой всей третьей горизонтали.

Но тут я сказал Яхве, что хочу запретить увести ладью из-под удара.

— Браво, Повелитель мух! — засмеялся Он. — Мелкие партизанские пакости идеально соответствуют твоим повадкам: отсидеться, отмолчаться, а потом испортить все запретом, ультиматумом или угрозой. Надеюсь хотя бы, что если твой избранник тебя подведет, ты не станешь унижать меня бессмысленным сопротивлением — и сдашь партию.

— Сдам, — ответил я. — Непременно сдам.

In nomine Domini nostri Ihesus Christi!¹

Лязг доспехов, отмечающий каждый шаг сопровождающих меня пехотинцев, заставляет чеканить по слогам: «In-po-mi-ne-Do-...» Но цокот копыт лошадей конной стражи не так размерен. Теплая свежесть мартовского ветра будоражит игривых жеребцов, они сбивают слишком медленную рысь — и тогда мое мысленное выпевание: «mi-ni-pos-tri...» прерывается «Ihesus-christi!», коротким и резким, как вскрик распятого Спасителя.

Потом короткая пауза и снова: «In-po-mi-...» в такт тяжелой поступи пеших. Так иду я, повторяя, что и нынешний мой путь, и вся моя жизнь — во имя Иисуса Кротчайшего.

Так иду я, Томас де Торквемада, лучший католик Испании, пока еще разделенной на Кастилию, Арагон, Леон, Каталонию и прочая, но уже навеки скрепленной объятием Святейшей инквизиции.

Так иду я, Томас де Торквемада, верный помощник Святого Римского Престола; верный слуга супругов-королей: Фердинанда II Арагонского и Изабеллы I Кастильской.

Одинокий в своих исканиях и муках, как сам Иисус, когда Его предали все: и народ иудейский, и ученики-иудеи,

И Бог иудейский, который поспешил когда-то остановить руку Авраама, занесшего жертвенный нож над сыном своим, Исааком.

Чужого сына пожалел, а собственного — нет.

Впрочем, Кротчайший сполна с Ним расплатился, когда безропотно взошел на Голгофу и оттого стал людям мил. И хотя миллионы уст бормочут ежедневно: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа», сердца преданы только Сыну.

И земной Мириам, Марии, зачавшей своего первенца, Иисуса, непорочно, но уже братьев Его зачинавшей попросту, без затей, под хриплое дыхание старого плотника и под собственные судорожные стоны.

И я, будто бы наяву, слышу эти звуки – то ли они навеяны теплой свежестью мартовского ветерка, шныряющего по улицам беспутной Севильи,
то ли воспоминания о собственном блюде заменяют в моих мыслях светлый лик Мадонны на мерзкую рожу Бьянки,
то ли кварта пульсирующей в моих жилах жидовской крови делает свою гнусную работу, испоганивая все, что есть святого в душе истинного христианина.
Но все-таки я – иду!

Нужно еще раз, бесстрастно, подсчитать прибыль и убытки, и тут кварта крови еврейских торгашей должна помочь.

Только бы не заболело колено. Нельзя об этом вспоминать. Как вспомнишь, как подумаешь, оно сразу заболит. Лучше радоваться тому, что целые сутки я ничего не пил и не ел. Теперь дойду до королевского дворца – и ни разу не захочу по малой нужде. Ведь столь торжественный приход Великого инквизитора: пешком, в простом монашеском одеянии, в сопровождении усиленной конной и пешей охраны, превратился бы в глумление над инквизицией, задери я по пути рясу или заспеши в отхожее место Алькасара.

А так я войду в тронный зал как грозное предостережение, и Фердинанд, этот злобный переросток, постаревший раньше, чем возмужал, – испугается. Он испугается – и евреи будут изгнаны из Испании. Удерут, бросив богатые дома и синагоги. А на границе уже все готово: их допросят. Добротню, как умеют допрашивать мои люди. И зловредный народ дрогнет. И выложит золото из поясов, надетых на нечистые тела пронырливых самцов. И вытрясет драгоценные камушки из тугих кошель, подшитых изнутри к юбкам плодовых самок.

Радуйся, Господь иудейский, как же легко после этого будет скитаться народу Твоему! Много легче, чем после фараонова рабства. И десятки тысяч золотых флоринов потекут в королевскую казну под благодарственные молитвы добрых католиков. А потом половина – тайно, под торопливый шепот моих аудиторов, под захлебывающийся шепот пересчета – в доход инквизиции... Если это не прибыль, то что же? Если это не шаг к осуществлению Великого Плана де Торквемады, то что же? Конечно, денег нужно стократ больше, однако и этот шаг хорош, тем паче, что он обещает много следующих шагов, столь же полезных.

Кажется, колено... Нет, нет, не думать об этом! Радоваться. Радоваться тому, что мне совсем не хочется по малой нужде, что Фердинанд испугается. Он и сейчас трусит, колеблется, ведь ему уже доложили, что я иду.

И я дойду! И верю, что ноги мои, ноги гончего пса Иисусова, будут выносливы еще тридцать лет, а голова останется ясной. И я, Томас де Торквемада, увижу воплощение своего Великого Плана. А поганый народ, порча католической Испании, испортивший даже мою кровь ретивейшего слуги Христова, исчезнет, как исчезают в севильских канавах нечистоты, подхваченные вздувшимся весенним Гвадалквивиром. И ничей голос не осквернит более испанскую землю возгласом: «Барух ата Адонай!»²

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.